

Б. ЖИТКОВ Морские истории

Б. ЖИТКОВ

Морские
ИСТОРИИ



Annotation

- [Борис Житков](#)
 -
 - [ДЖАРЫЛГАЧ](#)
 - [ШКВАЛ](#)
 - [НИКОЛАЙ ИСАИЧ ПУШКИН](#)
 - [КОМПАС](#)
 - [БАТА](#)
 - [УТОПЛЕННИК](#)
 - [МЕХАНИК САЛЕРНО](#)
 - [ЧЕРНЫЕ ПАРУСА](#)
 - [Словарь морских выражений и альбом рисунков к нему](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
-

Борис Житков
МОРСКИЕ ИСТОРИИ



О книге и её авторе

«Морские истории» — это рассказы о жизни и труде на море. Их написал известный советский детский писатель Борис Степанович Житков (1882–1938 гг.).

Почему писатель посвятил свои рассказы труженикам моря? Море ему было близко с детства: он вырос в большом портовом городе Одессе.

Отец Житкова долгие годы служил в Русском обществе пароходства. Братья отца плавали на военных кораблях и дослужились до адмиральского

чина.

Взрослые часто брали мальчика в небольшие путешествия по морю на парусных шлюпках, яхтах.

Подростком Борис Житков пешком обошел Черноморское побережье от Батуми до Одессы.

Поступив в университет, молодой Житков одновременно занимается морским делом и сдает экзамены на штурмана дальнего плавания. После университета он оканчивает кораблестроительное отделение Петербургского политехнического института.

В 1912 году Борис Житков отправляется в кругосветное путешествие через Гибралтар, Суэцкий канал, Красное море, мимо берегов Африки до Мадагаскара. Побывал в Индии, на Цейлоне, в Шанхае, Японии. Пересек три океана: Атлантический, Индийский и Тихий. Впоследствии много плавал по Белому морю.

Б. С. Житков был удивительнейшим человеком. Его жизнь не менее интересна, чем его рассказы. Он изучил еще много других профессий, владел многими языками.

О чем бы ни писал Борис Житков, — все это в одинаковой степени интересно и познавательно. Все это он сам видел, слышал, пережил. Потому-то «Морские истории» и читаются с необычайным увлечением. Они написаны для подростков. В них повествуется о настоящем мужестве, воле, истинной храбрости. Рассказ «Механик Салерно» исключительно посвящен мужеству, выдержке, храбрости.

Кроме «Морских историй», Б. С. Житков создал для детей еще немало рассказов, потому что хотел свои знания передать маленькому читателю. Это рассказы о животных («Про слона», «Про обезьяну», «Мангуста»), о технике («Пароход», «Свет без огня», «Про эту книгу»).

Б. С. Житков стал писать поздно, когда уже имел большой жизненный опыт, большие знания.

«Морские истории» — первая его книга. Она вышла в свет в 1925 году.

ДЖАРЫЛГАЧ

Новые штаны

Это хуже всего — новые штаны. Не ходишь, а штаны носишь: все время смотри, чтоб не капнуло или еще там что-нибудь. Из дому выходишь — мать выбежит и кричит вслед на всю лестницу: «Порвешь — лучше домой не возвращайся!» Стыдно прямо. Да не надо мне этих штанов ваших! Из-за них вот все и вышло.

Старая фуражка

Фуражка была прошлогодняя. Немного мала, правда. Я пошел в порт, последний уж раз: завтра ученье начиналось. Все время аккуратно, между подвод прямо змеей, чтоб не запачкаться, не садился нигде, — все это из-за штанов проклятых. Пришел, где парусники стоят, дубки. Хорошо: солнце, смолой пахнет, водой, ветер с берега веселый такой. Я смотрел, как на судне двое возились, спешили и держался за фуражку. Потом как-то зазевался, и с меня фуражку сдуло в море.

На дубке

Тут один старик сидел на пристани и ловил скумбрию. Я стал кричать: «Фуражка, фуражка!» Он увидел, подцепил удилищем, стал подымать, а она вот-вот свалится, он и стряхнул ее на дубок. За фуражкой можно ведь пойти на дубок?

Я и рад был пойти на судно. Никогда не ходил, боялся, что заругают.

С берега на корму узенькая сходня, и страшновато идти, — а я так, поскорей. Я стал нарочно фуражку искать, чтоб походить по дубку, — очень приятно на судне. Пришлось все-таки найти, и я стал фуражку выжимать, — а она чуть намокла. А эти, что работали, и внимания не обратили. И без фуражки можно было войти. Я стал смотреть, как бородатый мазал дегтем на носу машину, которой якорь подымают.

С этого и началось

Вдруг бородатый перешел с кисточкой на другую сторону мазать. Увидел меня да как крикнет: «Поддай ведерко! Что, у меня десять рук, что ли? Стоит, тетеря!» Я увидал ведерко со смолой и поставил около него. А он опять: «Что у тебя руки отсохнут, поддержать минуту не можешь!» Я стал держать. И очень рад был, что не выгнали. А он очень спешил и мазал наотмашь, как зря, так что кругом деготь брызгал, черный такой, густой. Что ж мне, бросать, что ли, ведерко было? Смотрю, он мне на брюки капнул раз, а потом капнул сразу много. Все пропало: брюки серые были.

Что же теперь делать?

Я стал думать: может быть, как-нибудь отчистить можно? А в это время как раз бородатый крикнул: «А ну, Гришка, сюда, живо!» Матрос подбежал помогать, а меня оттолкнул; я так и сел на палубу, карманом за что-то зацепился и порвал. И из ведерка тоже попало. Теперь совсем конец. Посмотрел: старик спокойно рыбу ловит, — стоял бы я там, ничего б и не было.

Уж все равно

А они на судне очень торопились, работали, ругались и на меня не глядели. Я и думать боялся, как теперь домой идти, и стал им помогать изо всех сил: «Буду их держаться» — и уж ничего не жалел. Скоро весь перемазался.

Пришел третий

Этот, с бородой, был хозяин; Опанас его зовут.

Я все Опанасу помогал: то держал, то приносил, и все делал со всех ног, кубарем. Скоро пришел третий, совсем молодой, с мешком, принес харчи. Стали паруса готовить, а у меня сердце екнуло: выбросят на берег, и мне теперь некуда идти. И я стал, как сумасшедший.

Стали сниматься

А они уже все приготовили, и я жду, сейчас скажут: «А ну, ступай!» И боюсь глядеть на них. Вдруг Опанас говорит: «Ну, мы снимаемся, иди на берег». У меня ноги сразу ослабли. Что ж теперь будет? Пропал я. Сам не знаю, как это снял фуражку, подбежал к нему. «Дядя Опанас, — говорю, — дядя Опанас, я с вами пойду, мне некуда идти, я все буду делать». А он: «Потом отвечай за тебя». А я скорей стал говорить: «Ни отца у меня, ни матери, куда мне идти?»

Божусь, что никого у меня, все вру: папа у меня — почтальон. А Опанас стоит, какую-то снасть держит и глядит не на меня, а что Григорий делает. Сердито так.

Так и остался я

Как гаркнет: «Отдавай кормовые!» Я слышал, как сходню убирают, а сам все лопочу: «Я все буду делать, в воду полезу, куда хотите, посылайте». А Опанас как будто не слышит. Потом все стали якорь подымать машиной: как будто воду качают на носу этой самой машиной — брашпилем.

Я старался изо всех сил и ни о чем не думал, только чтоб скорей отойти, только чтоб не выкинули.

Сказали борщ варить

Потом ставить стали паруса, я все вертелся и на берег не глядел, а когда глянул — мы уже идем, плавно, незаметно, и до берега далеко — не доплыть, особенно если в одежде.

У меня мутно внутри стало, даже затошнило, как вспомнил, что я сделал. А Григорий подходит и так по-хорошему говорит: «А ты теперь поди в камбуз, борщ вари; там и дрова». И дал мне спички.

Какой такой камбуз?

Мне стыдно было спросить, что это — камбуз.

Я вижу: у борта стоит будочка, а из нее труба вроде самоварной. Я

вошел, там плитка маленькая. Нашел дрова и стал разводить огонь. Раздуваю, а сам думаю: что же это я делаю? А уж знаю, что все кончено. И стало страшно.

Ничего уж не поделаешь...

Ничего, думаю, надо пока что борщ варить. Григорий заходил от плиты закуривать и говорил, когда что не так. И все приговаривает: «Да ты не бойся, чего ты трусишь? Борщ хороший выйдет». А я совсем не от борща. Стало качать. Я выглянул из камбуза — уж одно море кругом. Дубок наш прилег на один борт и так и пишет вперед. Я увидел, что теперь ничего не поделаешь. Мне стало совсем все равно, и вдруг я успокоился.

Поужинали и спать

Ужинали в каюте, в носу, в кубрике. Мне хорошо было, совсем как матрос: сверху не потолок, а палуба, и балки толстые — бимсы, от лампочки закопчены.

И сижу с матросами.

А как вспомню про дом, и мамка и отец такими маленькими кажутся. Все равно: и я теперь ничего не могу сделать, и мне ничего не могут.

Григорий говорит: «Ты, хлопчик, наморился, спать лягай», — и показал койку.

Как в ящике

В кубрике тесно, койка, как ящик, только что без крышки. Я лег в тряпье какое-то. А как прилег, слышу: у самого борта вода плещет чуть не в самое ухо.

Кажется, сейчас зальет. Все боялся сначала — вот-вот брызнет, особенно, когда с шумом, с раскатом даст в борт. А потом привык, даже уютней стало: ты там плечи — не плечи, а мне тепло и сухо. Не заметил, как заснул.

Вот когда началось-то!

Проснулся — темно, как в бочке. Сразу не понял, где это я. Наверху по палубе топчут каблучищами, орут, а зыбью так и бьет; слышу, как уже поверху вода ходит. А внутри все судно трещит, кряхтит на все голоса. А вдруг тонем? И показалось, что изо всех щелей сейчас вода хлынет, сейчас, сию минуту.

Я вскочил, не знаю, куда бежать, обо все стучаюсь, в потемках нащупал лесенку и выскочил наверх.

Пять сажений

Совсем ночь, моря не видно, а только из-под самого борта зыбь бросается, как оскаленная, на палубу, а палуба из-под ног уходит, и погода ревет, воет со злостью, будто зуб у ней болит. Я схватился за брашпиль, чтоб устоять, а тут всего окатило. Слышу, Григорий кричит. «Пять сажений, давай поворот? Клади руля! На косу идем!» Дубок толчет, подбивает, шлепает со всех сторон, как оплеухами, а он не знает, как и повернуться, — и мне кажется, что мы на месте стоим, и еще немного, и нас забьет эта зыбь.

Поворот

Пусть куда-нибудь поворот, все равно, только здесь нельзя. И я стал орать: «Поворот, поворот! Пожалуйста, дяденьки, миленькие, поворот!» Моего голоса за погодой и не слышать. А Опанас охрип, орет с кормы: «Куда к чертям поворот, еще этим ветром пройдем!» Еле через ветер его слышно. Григорий побежал к нему. А я стою, держусь, весь мокрый, ничего уже не понимаю и только шепчу: «Поворот, поворот, ой, поворот!»

Сели

Думаю: «Григорий, Гришенька, скажи ему, чтоб поворот». И так я Григория сразу залюбил. Как он борщ-то мне помогал! Слышу обрывками, как они на корме у руля ругаются. Я хотел тоже побежать, просить, чтоб поворот. Не дошел — так зыбью ударило, что хватился за какой-то канат, вцепился и боюсь двинуться. Не знаю уже, где паруса, а где море и где дубок кончается. Слышу, Григорий кричит, ревет прямо: «Не видишь,

толчея какая, на мель идет!»

И вдруг как тряхнет все судно, что-то затрещало, — я с ног слетел. На корме закричали, Григорий затопал по палубе. Тут еще раз ударило о дно, и дубок наклонился. Я подумал: теперь пропали.

Стало светать

Григорий кричит: «Было б до свету в море продержаться! Вперлись в Джарылгач в самый. Еще растолчет нас тут до утра!» А тут опять дубок наш приподняло, стукнуло о дно; он так весь и затрепетал, как птица. А зыбь все ходит и через палубу. Я все ждал, когда тонуть начнем. А тут Григорий на меня споткнулся, поднял на ноги и говорит: «Иди в кубрик; не бойся: мы под самым берегом». Я сразу перестал бояться. И тут заметил, что стало светать.

Второй джарылгацкий знак

Я залез в кубрик. Пощупал — сухо. Судно не качало, а оно только вздрагивало, когда даст сильно зыбью в борт. Я вспомнил про дом: бог с ними, с брюками, головы бы не сняли, а теперь вот что. А наверху, слышу, кричат: «Я ж тебе говорил — под второй Джарылгацкий и выйдем». Я забился в койку и решил, что буду так сидеть, пусть будет, что будет.

Что-нибудь же будет?

Берег

А наверху погода ревет, и каблуки топают. Слышу, по трапу спускаются, и Григорий кричит: — «Эй, хлопчик, как тебя? Воды нема в кубрике?» Я думал — ему пить, и стал руками шарить. А он где-то впереди открыл пол и, слышу, щупает. Я опять испугался: значит, течь может быть. Григорий говорит: «Сухо». Я выглянул из койки в люк; мутный свет видно, и как будто все сразу спокойней стало: это от свету.

Я выскочил за Григорием на палубу. Море желтое, и все в белой пене. Небо наглухо серое. А за кормой еле виден берег — тонкой полоской, и там торчит высокий столб.

Вывернуться!

Ветром обдувало, я весь мокрый, и у меня зуб на зуб не попадал. Опанас тычет Григорию: «Если бы за знак закрепить да взять конец на тягу, вывернулись бы и пошли». А Григорий ему: «Шлюпку перекинет, вон какие зыба под берегом лопаются, плыть надо».

Опанас злой стоит, и ему ветром бороду треплет, страшный такой. Посмотрел на меня зверем: «Вот оно, кричал тогда: „в воду, я хоть в воду“, — вот все через тебя. Лезь вот теперь за борт!» Мне так захотелось на берег и так страшно Опанаса стало, что я сказал: «Я и поплыву, я ничего». Он не слышал за ветром и заорал на меня: «Ты что еще там?» У меня зубы стучат, а я все-таки крикнул: «Я на берег!»

С борта

Опанас кричит: «Плыви, плыви! Возьмешь не знай кого, через тебя все и вышло. Полезай!» Григорий говорит: «Не надо, чтоб мальчик. Я поплыву». А Опанас: «Пусть он, он!» и прямо зверем: «Пропадем с тобой, все равно за борт выкину!» Григорий ругался с ним, а я кричу: «Поплыву, сейчас поплыву». Григорий достал доску, привязал меня за грудь к доске. И говорит мне в ухо: «Тебя зыбью аккуратно на Джарылгач вынесет, ты спокойно, не теряй силы». Потом набрал целый моток тонкой веревки. «Вот, — говорит, — на этой веревке пускать тебя буду. Будет плохо, назад вытяну. Ты не трусь! А доплывешь, тяни за эту веревку, мы на ней канат поддадим, закрепим за столб, за знак этот, а вывернемся, сойдем с мели, ты канат отвяжи скорей, отдай, сам хватайся за него, мы тебя к себе на судно и вытянем». Мне так хотелось на берег, — казалось совсем близко, я на воду и не глядел, только на песок, где знак этот торчал. Я полез на борт. А Григорий спрашивает: «Как звать?» А я и не знаю, как сказать, и, как в училище, говорю: «Хряпов», а потом уже сказал, что Митькой. «Ну, — говорит Григорий, — вались, Хряп, счастливо».

На доске

Я бросился с борта и поплыл. Зыбь сзади накатом в затылок мне, и вперед так и гонит; я только на берег и смотрю.



Зыбь сзади накатом, в затылок мне, и вперед так и гонит...

А берег низкий, один песок. Как зыбью подымет, так под сердце и подкатывает, а я все глаз с берега не свожу. Как стал подплывать, вижу: ревет прибой под берегом, рычит, копает песок, все в пене: Закрутит, думаю, — и убьет прямо о песок головой. И вот все ближе, ближе.

Зыбь лопается

Вдруг, чувствую, понесло-понесло меня на гребешке, высоко, как на руках, подняло, и сердце упало: сейчас зыбь лопнет, как трахнет об песок! Не буду живой! А тут веревка моя вдруг натянулась, и зыбь вперед пошла и без меня лопнула. И так пошло каждый раз — я догадался, что это

Григорий с судна веревкой правит. Я уж песок под ногами стал чувствовать, хотел бежать, но сзади как заревет зыбь, нагнала, повалила, завертела, я песку наглотался, но на доске снова выплыл.

За знак

Наконец я выкарабкался. Глянул на судно: стоит и парусами на зыби колышет, как птица подстреленная. А я так рад был, что на земле, и мне все казалось, что еще качает, что земля подо мной ходит.

Я отвязался от доски и стал тянуть веревку. Знак как раз тут же был: громадный столб с укосинами и наверху что-то наворочено вроде бочки. Я взял веревку на плечи и пошел. Ноги в песке вязнут, и во рту песок, и в глаза набило, и низом метет песком. Еле веревку вытащил... Смотрю, уж кончилась тонкая веревка, и канат пошел толстый. Я его запутал, как умел, за знак, под самый корень, и лег на песок — весь: дух из меня вон, пока я тянул.

Вывернулись

Знак дрогнул. Вижу — натянулся канат; я привстал. Судно повернулось, оттуда стали мне махать.

Я встал и начал отпутывать канат, — здорово затянуло. Судно пошло, канат ушел в воду, потянулась и веревка; как живая змейка, так и убегает в море.

Берег или море?

Я видел, как Григорий с борта махал мне рукой, — хватайся, вытащим на веревке, — я не знал: тут остаться или к Опанасу и в море. Оглянулся — сзади пустой песок, а все-таки земля. Я думал, а веревка змейкой убегала и убегала. Вот доска дернулась и поползла. Сейчас уйдет! Я надумал остаться и все-таки бросился за доской в воду. Но тут зыбь ударила, я назад, а доска ушла.

Один

Я видел, как доска скакала по зыби к судну, а судно уходило в море. Вот тут я схватился, что я один, и я побежал прямо прочь от берега по песку.

А вдруг тут совсем никого нет и ни до кого не дойти?

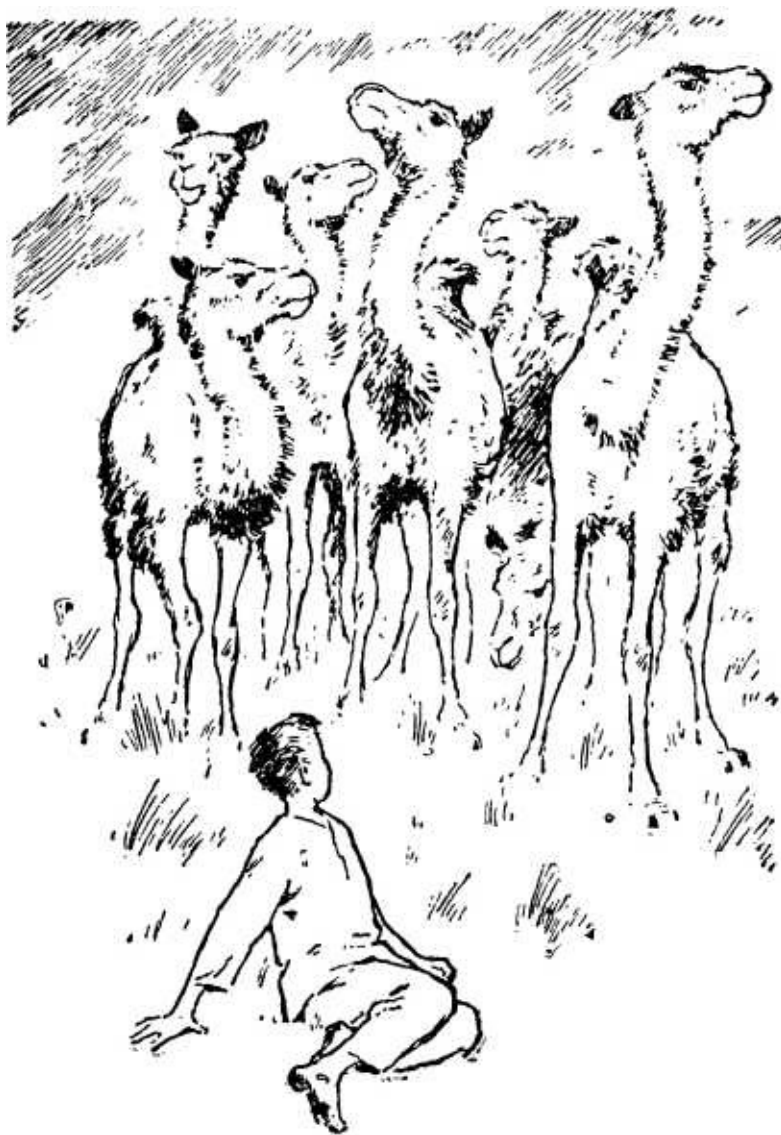
Я опять оглянулся — судно было совсем далеко, только паруса видно. Лежал бы теперь в койке и приехал бы куда-нибудь.

Стадо

А вдали я увидел, будто стадо. Пошел туда — ну, вот, люди, пастухи там должны быть. Боялся только, что собаки выскочат. Я перестал бежать, но шел со всех сил. Волочу ноги по песку. Когда стал подходить, вижу — это верблюды. Я совсем близко подошел — ни одной собаки нет. И людей тоже.

Верблюды

Верблюды стояли, как вкопанные, как не настоящие.



Верблюды стояли как вкопанные, как не настоящие.

Я боялся идти в середину стада и пошел вокруг.

А они как каменные. Мне стало казаться, что они неживые и что этот Джарылгач, куда я попал, заколдованный, и стало страшно. Я так их стал бояться, что думал: вот-вот какой-нибудь обернется, ухмыльнется и скажет: «А я...» Ух! Я отошел и сел на песок. Какие-то торчки растут там вроде камыша, и несет ветер песок, и песок звенит о камыш — звонко и тоненько.

А я один. И наметает, наметает мне на ноги песку.

Мои брюки не узнать стало.

И показалось мне, что меня замечает на этом Джарылгаче, и такое полезло в голову, что я вскочил и — опять к верблюдам.

Избушка

Я подошел, встал против одного верблюда. Он стоял, как каменный. Я стал кричать; что попало кричал во всю глотку. Вдруг он как шагнет ко мне! Мне так страшно стало, что я повернулся и — бежать.

Бежать со всех ног! Смейтесь, вам хорошо, а вот когда один... все может быть. Я не оглядывался на верблюдов, а все бежал и бежал, пока сил хватило. И показалось мне, что нет выхода из этих песков, а верблюды здесь для страха. И тут я увидел вдали избушку.

Весь страх пропал, и я пустился туда, к избе. Иду, спотыкаюсь, вязну в песке, но сразу весело стало.

Мертвое царство

В избушке ставни были закрыты, и за плетнем во дворе навес. И опять нет собаки, и тихо-тихо. Только слышно, как песок о плетень шуршит. Я тихонько постучал в ставни. Никого. Обошел избушку — никого. Да что это? Кажется мне или в самом деле?

И опять в меня страх вошел. Я боялся сильно стучать, — а вдруг кто-нибудь выскочит, неизвестный какой-нибудь. Пока я стучал да ходил, я не заметил, что со всех сторон идут верблюды к избушке, не спеша, шаг за шагом, как заводные, и опять мне показалось, что не настоящие.

В яслях

Я стал скорей перелезть через плетень во двор, ноги от страху ослабли, трясутся; перебежал двор, под навес. Смотрю — ясли, и в них сено. Настоящее сено. Я залез в ясли и закопался в сено, чтоб ничего не видеть. Так лежал и не дышал. Долго лежал, пока не заснул.

Ведро

Просыпаюсь — ночь, темно, а на дворе полосой свет. Я прямо затрясся. Вижу, дверь в избушку открыта, а из нее свет. Вдруг слышу, кто-то идет по двору и на ведро споткнулся, и бабий, настоящий бабий голос

кричит: «Угораздило тебя сослепу ведро по дороге кинуть, я-то его ищу!»

Домовой

Она подняла ведро и пошла. Потом слышу, как из колодца воду достает. Как пошла мимо меня, я и пискнул: «Тетенька!» Она и ведро упустила. Бегом к двери. Потом вижу, старый выходит на порог. «Что ты, говорит, пустое болтаешь, какой может быть домовой! Давно вся нечисть на свете перевелась».

А баба кричит: «Запирай двери, я не хочу!» Я испугался, что они уйдут, и крикнул. «Дедушка, это я, я!»

Старик метнулся к двери, принес через минуту фонарь. Вижу — фонарь так в руках и ходит.

Что оно такое — Джарылгач?

Он долго подходить боялся и не верил, что я не домовый. И говорит: «Коли ты не нечистая сила, скажи, как твое имя крещеное». — «Митька, — кричу, — Митька я, Хряпов, я с судна!» Тут он только поверил и помог мне вылезть, а баба фонарь держала. Тут стали они меня жалеть, чай поставили, печку камышом затопили. Я им рассказал про себя. А они мне сказали, что это остров Джарылгач, что здесь никто не живет, а верблюдов помещицких сюда пастись приводят, и только кой-когда старик их поить приезжает.

Они могут подолгу без воды быть. Берег тут — рукой подать. А пошли верблюды за мной к избе потому, что подумали, что я их пить зову, они свой срок знают. Старик сказал, что деревня недалеко и почта там: завтра домой можно депешу послать.

Мамка

Через день я уж в деревне был и ждал, что будет из дому. Приехала мамка и не ругала, а только все редела: поглядит и в слезы. «Я, — говорит, — тебя уж похоронила...» Ну, с отцом дома другой разговор был.

ШКВАЛ

— Провались он совсем и с своей черепицей вместе! — ругался матрос Ковалев. — Этакую тяжесть на палубу валит!

— Ладно, сейчас кончаем, еще только тысяча осталась, — прохрипел старик-боцман, размазывая, красную черепичную пыль по потному лицу.

Жара стояла несносная: был самый разгар южного лета.

Отправитель черепицы с хозяином судна спорили в каюте, и было слышно на палубе, как грек-хозяин кричал:

— Понимаешь ты, я рискую: судно перевес будет иметь, самая тяжесть сверху, а ты не хочешь прибавить гривенник за тысячу!

— Ведь близко, капитан, два шага, погода хорошая, — пищал отправитель со слезой в голосе, — ведь через два часа на месте будете. Прибавлю пятак, уж куда ни шло.

— Продаешь нас за пятак, — бубнил на палубе матрос Ковалев, укладывая рядами черепицу. — Рванет хороший ветерок, и амба: ляжем парусами на воду.

— Да что вы, что вы? — испуганно сказала стоявшая рядом женщина. Она держала за руку девочку лет восьми. Девочка вертелась и, запрокинув голову, разглядывала высокие мачты и реи судна.

— А очень просто, — серьезно сказал Ковалев и, остановись на минуту, сердито взглянул на женщину. — Он не то, что нас, он и внучку не жалеет. И Ковалев кивнул головой на девочку. — Вот подите, скажите ему.

— Да разве ему скажешь?.. — прошептала женщина и еще ближе прижала к себе девочку.

А матросы валили и валили черепицу, укладывали рядами и досками укрепляли ряды.

Боцман глядел на их работу и покачивал головой, что-то про себя соображая. Потом взглянул на небо, прищурился и перевел взгляд на горизонт. Море, гладкое, без морщинки, как масло, лоснилось на солнце и тоже, казалось, еле дышало от нестерпимого зноя.

— Мертвый штиль, — сказал боцман. — Ух, как бы не сорвалась ночью погода!

— Ничего, ничего, — затараторил хозяин, выходя из каюты, — бриз-бриз будет, хорошо пойдем. Веселей шевелись! — крикнул он матросам и побежал по палубе зачем-то нагонять отправителя.

Наконец, кончили погрузку. Судно «Два друга» оттянулось на

середину порта. Ждали ветра. Солнце зашло, а жара не спадала. Все пятеро матросов стояли у борта, курили и сплевывали в воду. В порту зажглись огоньки, и красным глазом вспыхнул на рейде маяк. Красной змеей извивалось его отражение в воде.

— А это что у тебя в ящике, Настя, куклы? — спросил Ковалев девочку.

Большой ящик стоял на палубе у борта, и девочка поминутно в него заглядывала через дверцу вверху.

— Нет, зайчик живой, — ответила Настя с гордостью.

— Да ну? — сказал Ковалев и запустил в ящик руку.

Он вытащил за уши большого зайца. Девочка закричала и потянулась руками. Но она сейчас же успокоилась: матрос ловко посадил зайца на руки и стал бережно гладить своей огромной ладонью.

— Вот и жаркое, — сказал подошедший сзади матрос Дмитрий.

Настя испуганно поглядела на Дмитрия и перевела глаза на Ковалева.

— Не дадим, не бойся! — сказал матрос. — Это он шутит.

— А если буря будет, — спросила девочка, — страшная-престрашная, зайньку захлестнет волной?

— Мы тогда его в каюту к деду занесем, — утешал ее Ковалев.

— Ковалев, — раздался голос хозяина, — Дмитрий! Шлюпку на палубу!

Ковалев быстро сунул зайца обратно в ящик и пошел исполнять приказание.

Настя теперь не отходила от Ковалева. Ей казалось, что Ковалев главный: такой громадный и за зайчика заступился.

Шлюпку вытащили и вверх дном уложили на палубе поверх черепицы.

Вот жарким дыханием пахнул с берега бриз. Судно ожило. Все зашевелились. Матросы взялись за коромысло ручного брашпиля и, поругиваясь и отдуваясь, выкатили якорь. Поставили паруса, и «Два друга» медленно прокатилось в ворота порта. Бриз усилился и ходко гнал судно вдоль берега. Вот уже далеко за кормой остался красный глаз маяка. Усталые люди спешили в койки.

Ковалев стоял на руле.

— Смотри, Гришка, за ветром! Ненадежная погода, — говорил ему боцман.

Старик, поглядывал за борт, стараясь на глаз определить ход судна.

— Чуть что, буди меня, Коваль, — сказал он, оглядывая небо и паруса. — Дойдем до мыса, непременно разбуди. Я пойду сосну.

И боцман зашагал усталыми ногами к кубрику.

Ковалев остался один. В отворенный люк хозяйской каюты он видел, как грек что-то писал в засаленной счетной книге.

Обе пассажирки спали тут же на узкой койке. Настя улыбалась во сне.

«Эта зайца своего видит, — подумал Ковалев, — а дед все пятаки считает».

В это время ветер вдруг прервал свое дыхание, судно выпрямилось, перевалилось на другой борт и стало качаться тяжелыми и широкими размахами.



Судно выпрямилось, перевалилось на другой борт и стало качаться тяжелыми и широкими размахами.

Но снова подул с берега бриз, и судно, прилегши на правый борт, побежало по-прежнему.

Ковалев беспокойно оглянул горизонт. Справа всходила полная луна. Ее диск двумя узкими полосами перерезывали облака. Небо посветлело, и на нем темным силуэтом вырисовывались паруса судна. Но Ковалев не отрывал глаз от той части горизонта, откуда выплывала луна. Он стал следить за облаками и ясно увидал теперь, что они идут навстречу ветру.

Бриз усилился, и судно побежало быстрее. Ковалеву казалось, что он спешит скорее в порт, как конь тянется к дому, чуя опасность. Теперь рулевой весь напрягся и чутко прислушивался. Вдруг его ухо уловило какой-то шум, как будто отдаленный гул толпы. Шум приближался, усиливался и скоро обратился в яростный рев.

— Хозяин, — закричал Ковалев, — шквал идет с подветра!

Грек оглянулся.

— Тридцать девять и сорок пять, тридцать девять и... ах, черт! — сказал он и опять повернулся к столу.

Ковалев опрометью бросился к кубрику.

Шум рос. Теперь уже казалось, что бешеная толпа с ревом несется на судно.

— Хлопцы, хлопцы! — заорал Ковалев в люк. — Шквал идет!

Сонное лицо боцмана показалось из люка.

— Чего орешь? — бормотал он спросонья.

— Шквал! — крикнул Ковалев, нагнувшись к самому уху старика. — Все наверх!

Но он не успел кончить, как резкий порыв ветра налетел на судно, выстрелом рванул по парусам, и «Два друга» стремительно повалилось на левый борт. Ковалев не удержался на ногах и полетел в люк, увлекая за собой по трапу боцмана. На палубе загрохотала, зазвенела черепица, гулко стукнула о борт покотившаяся шлюпка, что-то трещало, лопалось и стонало, казалось, все судно рассядется на двое: волной хлынула вода в люк кубрика.

Шквал сделал свое дело и понесся дальше.

Все это совершилось мгновенно, никто не успел опомниться и что-нибудь сообразить. Сонные люди попадали с коек. Послышались испуганная ругань, проклятья. В темной тесноте, по колено в воде, обезумевшие люди барахтались, наступали друг на друга, выли, ругались и молились. Ушибались об упавшие сундуки, путались в мокрых одеялах, давили друг друга, в ужасе, в смертельном страхе ища дорогу к выходу. А выхода не было.

— Стой! — вдруг покрыл все голоса окрик Ковалева. Обезумевшие люди на мгновенье замолчали, и стало слышно, как спокойно хлещет вода в

борт опрокинутого судна.

— Нас перекинуло, — сказал Ковалев, воспользовавшись минутой молчания, — мы не пошли под заныр^[1]: вон как зыбь в борт бьется.

— Давай топор, — крикнул матрос Христо, — руби дно!

Все бросились искать топор. Но это было нелегко в этом мокром хаосе. Руки судорожно хватались в темноте за всякую палку, принимая ее за ручку топора. Мешали двигаться висевший сверху привинченный к палубе стол, тряпье, мокрые подушки, путавшаяся в ногах веревка.

— Есть, есть! — закричал Дмитрий, ухватив, наконец, топор.

— Повыше, повыше рубайте, — молил боцман, — вот тут!

Но в темноте никто не видел, куда он показывал. Вмиг сломали ящик-койку, которая преграждала путь к борту.

Ковалев взял ощупью из рук Дмитрия топор.

— Рубай, рубай скорее, Гришка! — кричали люди. Все знали силу Ковалева. Топор застучал, щепки летели и били в лицо, но все старались протиснуться ближе.

— Давай мне! — крикнул Христо, заметив, что Ковалев устал.

И так, передавая топор из рук в руки, люди по очереди, что было силы, колотили топором, попадая в нарубленное место.

А опрокинутое судно плавало: находившийся внутри воздух не успел выйти, так внезапно его перевернуло. И этот-то воздух и держал судно на поверхности.

В кубрике становилось заметно душно. Запыхавшиеся люди часто дышали и спешили прорубить выход на волю, к свежему воздуху. Они боялись задохнуться и каждую минуту думали, что вот-вот судно начнет погружаться под воду.

Ковалев рубил в свою очередь. Он бил топором из последних сил, и слышно по звуку, что немного уже оставалось. Сейчас будет дыра. Вот она. Лунный свет пробивался звездочкой сквозь маленькое отверстие. Ковалев перевел дух и хотел крикнуть товарищам, что уж виден свет. Он слышал тонкий свист прорвавшегося через дырку воздуха. Ковалев приставил к дыре мокрый палец: нет, из дыры не дуло. Куда же идет воздух? Ковалев понял, что воздух не входит в каюту. А ведь слышно, как он идет! Значит, вон из каюты выходит воздух?.. И вдруг все сообразил. Их каюта, как опрокинутый вверх дном пустой стакан: если его пихать в воду, то воздух в стакане не даст войти воде. Но если в дне такого стакана сделать дырку, то воздух уйдет через нее, и весь стакан заполнит вода.

— Дай топор! — кричал Дмитрий. Он шарил в темноте руки Ковалева.

— Да давай же скорей! — кричали кругом.

Но Ковалев быстро схватил плававшую под ногами щепку и забил ею отверстие.

— Стой, хлопцы! — кричал Ковалев. — Не руби!

Дмитрий вырвал из его рук топор. Ковалев знал, что Дмитрий сейчас ударит, и поймал его за руку.

— Стой! Ударишь — пропали все!

— Рубай! — кричал боцман.

— Нет! — Воздух уйдет! — выкрикивал Ковалев, удерживая руку Дмитрия. — Вода снизу через люк напирает... ее воздух сюда не пускает... Дыра будет... потонем как мыши... сюда вода зайдет.

Все замолчали.

— Вот! — Ковалев выдернул на время щепку из отверстия и, поймав в темноте чью-то руку, поднес ее к дырке.

— Верно! — сказал голос боцмана.

— Все одно, рубай! — кричал Христо.

— Хлопцы, — сказал Ковалев, и все почувствовали, что он что-то важное скажет, и замолкли, — сейчас на воле будем. Вот он, люк, я ногой нащупал. Давай, веревку, я поднырну, а вы по веревке за мной.

Христо торопливо стал совать ему в руку конец веревки. Ковалев сорвал с себя мокрую одежду, быстро сделал на конце веревки петлю, надел ее через плечо и исчез под водой. Бьет проклятая веревка по ногам, мешает плыть: обо что-то острое ткнулся Григорий головой, помутилось на минуту в мозгу, но он все гребет руками. Вот он, борт, — Ковалев стукнулся в него теменем. Не хватает воздуха — хоть водой дохни. А там, внизу, чуть светлей: это пробивается лунный свет через воду. Сбросить бы петлю — вмиг на воле. Но Ковалев изо всей силы дернул веревку к себе и нырнул под борт. Вот уж на той стороне. Оттолкнулся из последних сил ногами от борта — грудь рвется, горло сжимает, вот-вотдохнет водой.

— Ну, на воле! Вотдохнул-то! — огляделся Ковалев. Уж поднявшаяся луна ярко освещала спокойное море. Легкий ветер тянул к берегу. Как брюхо огромного чудовища, чернело дно опрокинутого корабля. Обломки мачт и реи с парусами плавали тут же на оборванных снастях.

Ковалев подплыл к рее и закрепил на ней свою петлю. Держался за рею и только дышал. Он сейчас ни о чем не думал, а глотал воздух, цену которому узнал только теперь.

Странно было думать, глядя на огромный опрокинутый корпус судна, что там внутри копошатся и рвутся на волю живые люди.

Через несколько секунд показалась на поверхности воды голова Христо, а за ним вынырнули остальные.

Шлюпка, полная воды, но целая плавала неподалеку, запутавшись в снастях.

Матросы подплыли к ней.

Ковалев направился на обломке реи к корме, откуда раздавались глухие удары.

— Рубят, ей-богу, рубят! — крикнул Ковалев.

Матросы как попало отливали воду из шлюпки и не слушали.

Ковалев достал конец веревки из воды, сделал опять петлю, надел по-прежнему через плечо и нырнул под судно. Нащупал под водой люк в хозяйскую каюту.

А там и в самом деле рубили. Хозяин-грек отчаянно работал топором, силясь прорубить выход через дно.

Все вздрогнули в капитанской каюте, когда услышали голос Ковалева.

— Брось рубить! Пропадешь! — кричал он греку и хотел впотьмах схватить его руку.

— Оставь! — заорал грек. — Убью!

Ковалев наскоро закрутил свою петлю за стол.

В темноте он нащупал женщину. На руках у нее Настя.

— Давай девочку, а сама за нами по веревке ныряй под судно.

— Ой, ой! — закричала женщина. Но Ковалев вырвал из ее рук девочку, сгреб подмышку. Одной рукой зажал ей рот и нос, а другой взялся за веревку.

Перебирая веревку одной рукой, он вынырнул с Настей около реи.

Матросы подплывали на шлюпке, пробираясь между обломками снастей. Вслед за Ковалевым вынырнула и женщина.

Все уселись в шлюпку.

Удары изнутри корабля все яснее и яснее слышались, прерывались на минуту — видно, старик переводил дух — и снова гукали в дно.

— Могилу себе рубает, — сказал Ковалев. — Дорубится и поймет.

Шлюпка стояла у борта, откуда слышались удары.

Все молчали и ждали. Вот уж совсем близко бьет топор.

— Заткни дырку, могилу себе рубаешь! — кричал Ковалев. Христо что-то часто кричал по-гречески.

— Ныряй, хозяин, под палубу! — кричал Дмитрий.

Но старик или не понимал или не слышал: рубил и рубил.

И вдруг послышался свистящий вздох. Это из невидимой дырки выходил воздух.

Удары топора бешено забарабанили по борту. Мелкие щепки летели наружу.

— Ай-ай, дедушка, дедушка! — крикнула Настя. Вдруг стук сразу оборвался. С минуту все в шлюпке молчали.

— Ну, аминь, — сказал Ковалев, — пропал старик.

Женщина вдруг вскочила, вырвала из рук Дмитрия черпак и в отчаянии застучала по дну судна. Ответа не было.

— Отваливай! — скомандовал Ковалев.

Шлюпка отошла. Легкий ветер гнал ее к берегу и помогал гребцам.

— Чего ты, Настя? — спросил Ковалев.

Девочка плакала.

— А зайчика, где зайчика?

— Не плачь, — утешал матрос, — мама другого купит.

Шлюпка медленно двигалась, гребли чем попало: весла пропали, их не нашли.

— Вон-вон что-то! — вдруг крикнула Настя.

Все поглядели, куда указывала девочка, Черное пятно маячило на воде справа.

Подошли.

Ящик плавал, слегка погрузившись в воду. Ковалев засунул руку и достал мокрого, но живого зайца.

— Зайчика, вот он, зайчика! — крикнула Настя и стала заворачивать зайца в мокрый подол.

— Вот ведь: скотина бессмысленная спаслась, а человек пропал, — сказал Дмитрий и оглянулся на блестевшее на луне осклизлое брюхо корабля.

Гребцы налегли: всем хотелось поскорее уйти от погибшего судна. Каждому чудилось, что грек еще стучит топором по дну.

Через час шлюпка с пассажирами пристала к берегу.

Все невольно оглянулись на море. Но там уже не видно было опрокинутого судна.

НИКОЛАЙ ИСАИЧ ПУШКИН

Стоят на пристани пассажиры, ждут парохода.

— Вон, вон, кажется, «Пушкин» идет.

Отвечают портовые люди:

— Правильно, это Стратонов.

Пассажиры:

— «Пушкин» ведь?

— Ну да: Николай Исаич.

Пассажиры переглядываются — вот неучи какие моряки: не знают, что Пушкин — Александр Сергеевич. Николай Исаич Пушкин!

А Николай Исаич стоит на мостике «Пушкина», глядит в бинокль и рывкает из бороды:

— Права... еще права. Так, так держать!

И знает Николай Исаич, что весь «Пушкин», от верхушки мачты до днища, — все это он — Николай Исаич. И что, когда посадит он «Пушкина» на мель, никто не скажет: «Пушкин» напоролся, а прямо будут говорить:

— Николай Исаич на мель сел. Стратонову скулу помял... пять футов воды в трюме.

Сам все эти пять футов воды ртом бы выпил Николай Исаич, лишь бы не было такого греха.

И так вот всякий капитан.

Потому и говорят. Ерохин снялся, Федор с моря идет.

А в «Федоре» этом — десять тысяч тонн, и на носу накрашено: «Меркурий».

Я сам это понял только тогда, когда первый раз посадил парусник. Дело было просто. Шел я в свежую погоду у Тендры ночью. Помощник мой вахту стоял. Вот по времени должна уж быть Тендра. А это, надо сказать, песчаная коса, ее и днем-то за двести сажень можно не увидеть. Я вышел и слышу: не та зыбь, метет прибой, россыпи слышно.

Я говорю помощнику:

— Сейчас в Тендру вопремся, уваливайтесь под ветер.

А он говорит:

— Приведите к ветру, лот брошу.

То есть чтоб я поставил судно против ветра, а он смерит, сколько глубины!

А привести к ветру — это выходит с ходу еще сажен двадцать пролететь к берегу.

— Приведите! — кричит помощник.

— На вашу голову?

— Ладно. — И побежал он с лотом на бак.

Я привел, и еще ходу не потеряли, как ткнуло в грунт и дрогнуло все судно. Подняло зыбью и ударило дном. У меня душа оборвалась.

Потом на берегу спрашивали:

— Ты под Тендрой сидел?

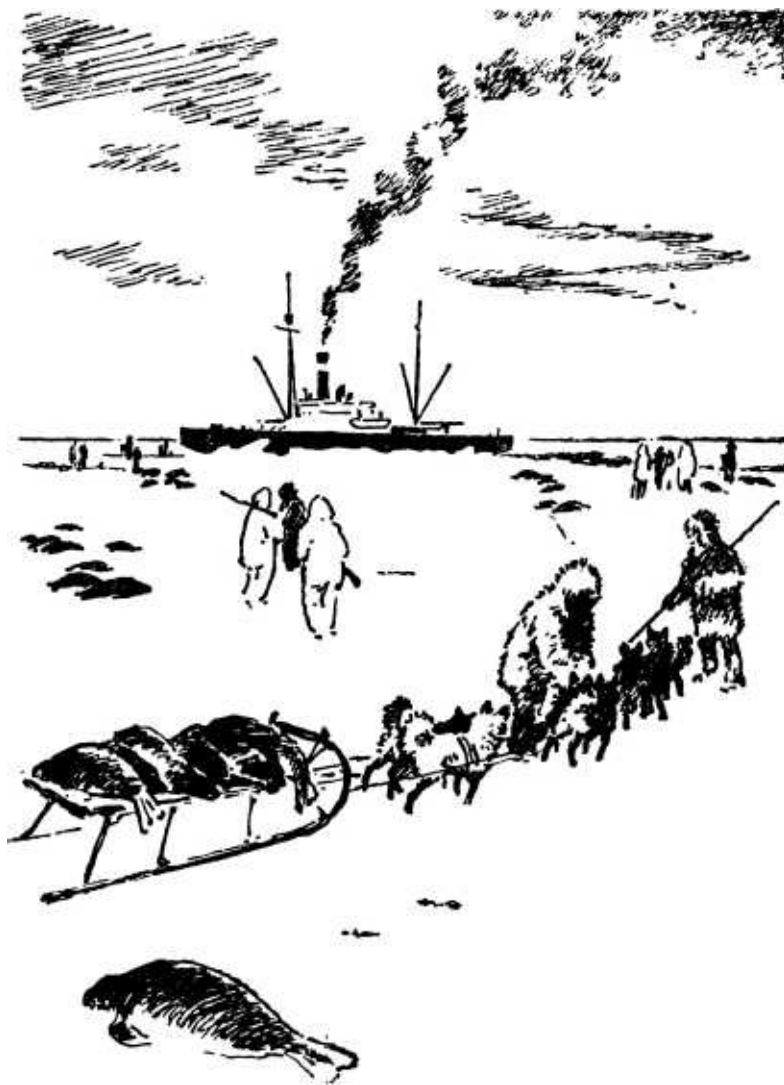
— Да, понимаешь, помощник...

Все усмеваются, отворачиваются. И верно. А помощнику что? Сидел-то ведь не он, а я. И с тех пор я уже накрепко понял: не судно ходит, а капитан. Не судно гибнет, а...

Вот тут-то я вам и расскажу недавний случай с моим другом-приятелем.

Дело было так.

Ледокол промышлял во льдах в Белом море. Промышлял, то есть у него на борту было душ полтораста промышленников, и ледокол лазил меж льдов по свободной воде, шел туда, где залег зверь. Капитан был молодой, лет тридцати пяти мужчина. Промышленники его любили за то, что с ним пойдешь — всегда удача. Зверя было «балго», и набили на льдине тюленей — беда сколько.



Набили на льдине тюленей — беда сколько.

Били и отстать не могли, в раж вошли люди от крови и от удачи. Такая жара пошла, что капитан сам не выдержал, сбежал на лед и сажал багром тюленьи головы.

— Эх, здорово капитан завел, — красные, в поту и в крови, хвалили капитана промышленники.

А с запада потянул ветерок. Капитан уж на месте и торопит ребят:

— Ну, кончай! Кончай!

Да как бросишь? В десять лет раз, старики говорят, такая удача! Не бросать же, коли само счастье в руки лезет. Отвернись от него, так и оно отворотится. А вест свежает. Свежает вест, давит на лед, и вот двинулась льдина и дрейфует (дрейфовать — идти без машины, силой ветра) ледокол у кромки со льдом вместе. Помалу дрейфует к востоку.

Темнеть стало. Ай и капитан, ну и капитан — прямо счастью в карман вперся! Еще полчасика!

— Все на борт, снимаюсь!

Двинул капитан вдоль кромки: узкой полосой шла, как река в ледяных берегах, свободная вода.

— Умаялись ребята, вари чего там на ужин.

А капитан дал полный ход: надо уйти из этой щели, а еще неизвестно, как там лед впереди. Часом бы раньше...

— А ну, сбегай в машину, скажи там, чтоб шевелили, сколько духу.

И стал капитан серьезным. Ходил по мостику и слышал, как внизу гомонят ребята, какого-то Митьку дразнят: вгорячах себе в валенок багром засадил. До Митьки тут! Ходу, ходу еще! Вон лед прямо по носу. Нет, это не поворот в канале, а затор. А может, слабый лед? И капитан заметил, как помощник косым взглядом глянул на него. Капитан подошел к телеграфу и два раза повернул ручку на весь размах и поставил на «полный» — значит, дай самый полный. Слышно было на мостике, как прозвонил крутым раскатом телеграф в машине. Пароход летел прямо в затор, сейчас, сейчас вонзится. Пароход ударил лед пологим форштевнем (выступающее ребро на носу), выскочил, задрался нос, и сразу смолкли голоса под мостиком. Ледокол влез носом на лед и стал, тужился машиной. И капитан и помощник, сами того не замечая, напирали на планшир^[2] мостика, тужились, вместе с ледоколом. Нет! Стоп!

— Назад!

Машина стала, и снова заурчало в брюхе парохода. Ледокол слез, скатился форштевнем; соскочил со льда и присел на минуту нос. Лед не поддался. Два раза еще ударил в лед капитан и запыхался, помогая пароходу. Он знал, что назад выхода нет и развернуться в узком канале нельзя. А внизу опять гудят, как на ярмарке.

— Митька-то, в валенок!.. Ах, чтоб тебе!

И кто-то кричит:

— Значит, дрейфуем, вались спать, ребята!..

Капитан сам знал, что придется дрейфовать к осту вместе со льдом в этом узком канале, в ледяной коробке. И знал капитан, знал по счислению, что там, справа к осту, — «кошки Литке». Пошел в штурманскую, глянул на карту, глянул во всю силу. Да, вот ровно на ост — «кошки Литке». И сейчас отлив, малая вода.

А вест свежал и свежал. Стало темно, промышленники уж глухо гудели под палубой, и только две папироски остро горели у правого борта.

Если б можно было ходить пешком по дну, хотя бы в водолазной

одежде, то чего бы человек не увидел! Как леса, стоят на камнях водоросли, и в них, как птицы, реют рыбы. Вот, как пустыня, лежит песчаная отмель, и камни, как ежи, сидят, поросли ракушек. А дальше горы. Горы стоят, как пики, уходят ввысь, и, если взобраться на них, уж рукой подать до неба — до водяной крыши, что дышит приливом и отливом каждые шесть часов.

И такие горы стоят на дне Белого моря. Их нащупал Литке, нанес на карту, и с тех пор называются они «кошки Литке».

В полную приливную воду может над ними пройти пароход, но в отлив напорется и раскроит себе брюхо.

Эти самые «кошки» и были по правому борту ледокола, и был отлив, то есть была «кроткая вода»; когда кончится отлив, должен начаться прилив.

Капитан знал это. Знал, что в узком канале он будет дрейфовать до самых «кошек»; что если он брюхом упрется в «кошки», то через минуту лед слева подойдет к борту вплотную, наплет, наплет неодолимо, как если бы берег, сам материк надвинулся на него, наплет в борт и положит ледокол мачтами на воду, и тогда — аминь. Звать по радио на помощь? Кто же пробьется к нему, когда он, ледокол, не может выбиться? Только раззвонить по свету... чтоб люди смеялись и враги радовались. И он знал, что вот скоро-скоро царапнет дном.

Приказал держать полный пар и ушел в каюту. Посидел на койке, все смотрел на свои большие руки.

«Положит набок пароход... положит...»

Где «кошки»? И спиной чувствовал, что там, сзади него, под водой, подо льдом, стоят эти «кошки» и ждут. Сколько до них? Нельзя знать, тут дело не в саженях. Поглядел в альманах (астрономический справочник). И без карандаша в уме считалось само до секунды — сейчас идет прилив, — только начался. И капитан натуживался, помогал подниматься воде, каждый дюйм воды будто сам своей натугой подымал. На пароходе было тихо, и только слышно было под низом, как гудит динамо, качает свет. Свежий вест драил по мостику. А ухо было все внизу, там, у дна, где должны царапнуть камни. Капитан перестал глядеть на часы и считать дюймы, а слушал.

Вот! Чиркнуло. На пароходе спокойно, никто не слышал. Капитан вытянул ящик и вынул кольт.

Камни теперь пойдут выше и выше... Но бежит вода на помощь, оттуда, из океана, через горло Белого моря. Поспеет ли?

Ух, заскребло как, заскрежетал кто-то зубами. И пошатнуло ледокол. И

вон голоса на палубе. Помощник прошагал мимо двери, но не стукнул в дверь... Опять! Покренился чуть... Пронесло... Кричит кто-то на палубе:

— На лед, да и пойдем, еще как пойдем-то, куда с добром. Телеграмму даст... Всех снимут. Да к маяку зашагаем, что по земле. Погоди скакать, трап спустим.

Гудят, топают. Теперь даже весело кричат. Все на палубе... Механик около дверей говорит:

— Так вы спросите, тушить, что ли, котлы? А то я на лед — и марш.

И голос помощника:

— Спрашивайте сами... А я спрашивать не стану. Вона сколько уж народу на льду-то.

И оба отошли через минуту.

Опять! Опять! И в ответ загудело на палубе, но капитан слышал только, как силится, скребется ледокол дном по камням. Капитан взял в руку кольт. Нет, поддувает, поддувает вода... а в упор к борту стоит лед.

Нету! Нету! Уж пять минут, может быть, нету... Капитан взглянул на часы. Если еще пять минут не будет...

И не было. Капитан глянул на себя в зеркало. Он был красен весь, лицом и шеей, в один ровный багровый цвет. Не узнавал красного человека и от глаз не мог оторваться: сам на себя смотрел.

Потом, не брякнув, сунул кольт в ящик и аккуратно притворил. Вышел на мостик. Всходила красная луна.

— Определиться? — спросил помощник.

— Всех я вас уж определил, кто чего стоит, — сказал капитан и сам взял сектант (астрономический прибор) из штурманской.

А утром стал бриться и увидал, что виски седые.

КОМПАС

Было это давно, лет, пожалуй, тридцать тому назад. Порт был пароходами набит — стать негде.

Придет пароход — вся команда высыпает на берег, и остается на пароходе один капитан с помощником, механики.

Это моряки забастовали: требовали устройства союза и чтоб жалованья прибавили.

А пароходчики не сдавались — посидите голодом, так, небось, назад запроситесь!

Вот уже тридцать дней бастовали моряки. Комитет выбрали. Комитет бегал, доставал поддержку: деньги собирал.

Впроголодь сидели моряки, а не сдавались.

Мы были молодые ребята, лет по двадцать каждому, и нам черт был не брат.

Вот сидели мы как-то, чай пили без сахара и спорили: чья возьмет?

Алешка Тищенко говорит:

— Нет. Не сдадутся пароходчики, ничто их не возьмет. У них денег мешки наворочены. Мы вот чай пустой пьем, а они...

Подумал и говорит:

— А они — лимонад.

А Сережка-Горилла рычит:

— Кабы их с этого лимонаду не вспучило.

Тридцать дней хлопцы держатся, пять тысяч народу на бульваре всю траву штанами вытерли.

А Тищенко свое:

— А им что? Коров на твоём бульваре пасти? Напугал чем?

И ковыряет со злости стол ножиком.

Тут влетает парнишка. Белотелый, всклокоченный. Плюнул в пол, хлопнул туда фуражкой, кричит:

— Они здесь чай пьют!..

— Лимонад нам пить, что ли? — говорит Тищенко и волком на него глянул.

А тот кричит бабьим голосом:

— Они чай пьют, а с «Юпитера» дым идет!



Тут влетает парнишка. — Они чай пьют, а с «Юпитера» дым идет.

Тищенко:

— Нехай он сгорит, «Юпитер», тебе жалко?

— С трубы, — кричит, — с трубы дым пошел!

Тут мы все встали, и Сережка-Горилла говорит:

— Это не дым идет, а провокация.

Парнишка плачет:

— Черный! Там дворники под котлами шевелят. Пошли!

Выскочили мы, пошли к «Юпитеру».

Верно, из паровой трубы шел черный дым, а кругом — и на сходне, и на пристани, и на палубе — кавалеры в черных тужурках. Рукава русским флагом обшиты, и на поясе револьверы.

Не подойти.

— Союзники русского народа, — объясняет парнишка.

Будто мы не знаем, что такое «союз русского народа» — полицейская порода.

Когда мы на бульвар пришли, только и разговору, что про «Юпитер». Стоит народ, и все на дым смотрят.

Взялся капитан с дворниками в рейс пойти, сорвать матросскую забастовку. Капитан — из «русского народу», и охрану ему дали: двадцать пять человек. Дворники — не дворники, а уголь шевелят здорово. На руль помощников капитан поставит, в машину — механиков...

— Очень просто, что снимутся, — говорит Тищенко, — а в Варне заграничную команду возьмут — и дошел.

Сережка вдруг оскалился, говорит:

— Не пустим!

— Ты ему соли на корму насыпь, — смеется Тищенко.

— Знаем, как насолить, — говорит Сережка. — Пойдем... — И толкает меня под бок.

Вышли мы из толпы.

Сережка мне говорит:

— Ты не трус?

— Трус, — говорю.

Он помолчал и говорит:

— Так вот, приходи ты сегодня в одиннадцать часов на Угольную, я около трапа тебя ждать буду. И никому — ничего.

Пальцем помахал и пошел прочь.

Чудак!

Прихожу в одиннадцать на Угольную пристань. Фонари электрические горят, и от пристани на воду густая тень ложится — ничего не видать под стенкой. Дошел до трапа, на ступеньках сидит Сережка- Горилла.

Сел я рядом.

— Что, — спрашиваю, — ты надумал?

— Полезай, — говорит, — в тузик вон у плота, дорогой обмозгуем.

Рассмотрелся, вижу плот и тузик.

Пошел я по плоту, — не видать, где плот кончается. Ступил на воду, как на доску, и полетел в воду.

Самому смешно: шинель вокруг меня венчиком плавает, и я как в розетке.

А вода весенняя, холодная.

Я в туз. Пока вылез, хорошо намок.

Разделся я до белья — и холодно и смешно. Стал грести, согрелся.

— Ну, — говорит Серега, — начало хорошее. А сделаем мы вот что: я на «Юпитере» путевой компас из нактоуза^[3] выверну и тебе в мешке спущу.

— А как подойдем? Трап ты спросишь у охранников?

— Нет, — говорит, — там угольная баржа о борт с ним стоит, какого-нибудь дурака сваем.

— Сваем, — говорю.

И весело мне стало. Гребу я и все думаю, какого там дурака будем валять. Как-то забыл, что «союзники» там с револьверами.

А Сережка мешок скручивает и веревку приготавливает.

Обогнули мол. Вот он, «Юпитер», вот и баржонка деревянная прикорнула с ним рядом. Угольщица.

Гребу смело к пароходу.

Вдруг оттуда голос:

— Кто едет?

Ну, думаю, это береговой, — флотский крикнул бы: «Кто гребет?»

И отвечаю грубым голосом:

— Та не до вас, до деда.

— Какого деда там? — уж другой голос- спрашивает.

А на такой барже никакого жилья не бывает, никаких дедов, и всякий гаванский человек это знает.

А я гребу и кричу ворчливо:

— Какого деда? До Опанаса, на баржу, — и протискиваю туз между баржей и пароходом.

Сережка окликает:

— Опанас! Опанас!

С парохода помогают:

— Дедушка, к вам приехали!

Залез я на баржу, с борта прыгнул на уголь и пошел в нос. А нос палубой прикрыт.

И говорю громко:

— Дедушка, дедушка, это мы. Какой вы сторож! Вас палкой не поднять, — и шевелю уголь ногой.

Смотрю — и Сережка лезет ко мне.

Чиркнул спичку. А я стариковским голосом шамкаю:

— Та не жгите огня, пожару наделаете, шут с вами.

Сережка, дурак, смеется.

А с парохода говорят:

— Да, да, не зажигайте спичек, мы вам фонарь сейчас дадим.

И затопали по палубе.

Сережка говорит мне:

— А чудак ты, дедушка, ей-богу, чудак!

Я выглянул из-под палубы. Смотрю, уже фонарь волокут.

Я скорей к ним.

К мокрому белью уголь пристал — самый подходящий вид у меня сделался, это я уже при фонаре заметил.

Сидим мы с фонарем под палубой и вполголоса беседуем.

Я все шамкаю.

— Лезь, — шепчет Серега, — в туз, а как уйдут с борта — стукни чуть веслом в борт.

Я полез в туз.

Вдруг Серега громко говорит:

— Так вода, говоришь, у тебя в носу оставлена, дедушка?

А я знаю, что он один там, и отвечаю из туза:

— В носу, в носу вода!

— Так заткни, чтоб не вытекла! Не тебя спрашивают, — говорит Серега.

На борту засмеялись. А Серега зашагал по углю в корму. Потом вернулся. Опять прошел на корму, и все смолкло.

Смотрю — один только человек остался у борта.

— Эй, — говорит, — фонарь-то потом верните.

И отошел. Стало тихо.

Я подождал минут пять и стукнул веслом в баржу. Бережно, но четко: тук!

И тут заколотилось у меня сердце. Я прислушивался во все уши, но кроме сердца своего ничего не слышал.

Глянул вверх — через щели в барже светит фонарь.

Прошел человек по палубе.

Перегнулся через борт и спрашивает, как начальник:

— Это что за лодка?

А я чувствую, что скажу слово — голос сорвется. Молчу.

Он опять. Крикнул уже:

— Что это за лодка? Эй, ты!

Тут ему кто-то из ихних ответил:

— Это сюда, на баржу, к старику, свои приехали.

— Ага, — говорит и отошел.

Опять стало тихо. Я уж вверх не гляжу, смотрю по борту парохода.

Вдруг что-то вниз ползет серое по черному борту.

Я замер. Дошло до воды — стало.
Мешок.
Вся сила ко мне вернулась.
Не брякнул я, не стукнул. Протянулся тузом по борту вперед, ухватил мешок — здорово тяжелый! — и осторожно опустил в туз.
В это время туз качнуло; глянул — Сережка уже стоит на корме.
Он по той же веревке слез, на которой и мешок опустил.
Я взялся за весла и стал потихоньку прогребаться вперед.
В это время с парохода кто-то крикнул:
— Эй, дед, фонарь давай! Заснул?
И мы слышали, как кто-то прыгнул на баржу.
Я чуть приналег посильнее.
Фонарь стал метаться по барже.
На пароходе закричали, заголосили.
Бах, бах! — щелкнули два выстрела.
— Эх, навались!
Мы уже огибали мол. Сережка оглянулся и сказал:
— Шлюпка за нами — навались!
Я рванул раз, два — и правое весло треснуло, я повалился с банки^[4].
Вскочил смотрю — Сережка гребет по-индейски обломком весла; как он успел на таком ходу ухватить обезьяньей хваткой обломок весла, — до сих пор не пойму.
Мы завернули за мол в темную полосу под стенкой и забились между большим пароходом и пристанью, как таракан в щель.
Мы видели, как из-за мола вылетела белая шлюпка. Гребли четверо. Гребли вразброд, бестолково. Орали и стреляли.
Через полчаса мы прокрались под стенкой к своей пристани.
Наутро пришли мы с Серегой на бульвар.
Еще пуще раздымился «Юпитер».
— Снимается, снимается, анафема, — говорит Тищенко. — Капитан там аккуратист — все уж в порядке.
А тут сбоку подбавляют:
— Лиха беда начать — все пароходы вылезут. Наберут арапов, охрану поставят — и айда. Завязывай!
Тут какой-то вскочил на скамейку и начал:
— Товарищи! Не надо паники. Сотня арапов весны не делает, — и пошел и пошел.
А мы с Сережкой переглядываемся.
Снялся «Юпитер». Вышел из порта.

Ну, думаю, через полчаса пойдет капитан курс давать, глянет в путевой компас...

Погудел народ и приуныл. Сели на землю и трут затылки шапками. Всем досада.

Мы с Сережкой ушли, так никому и слова не сказали.

Зашли в трактир, чаем пополоскались.

Дружина прошла строем, что на охране парохода была.

Серьезно идут, волками по сторонам смотрят.

Часа три прошло.

Вдруг вой с бульвара, да какой! Ну, думаем, полиция орудует на бульваре.

Бросились бегом.

Смотрим — все стоят, в море смотрят и орут.

А это «Юпитер» идет назад в порт. Увидел его народ, вой поднял.

А Серега мне говорит:

— Смотри же, ни бум-бум, чтоб никто ничего!

Я так до сего времени и молчал.

Ну, теперь уж и сказать можно...

БАТА

Это, наконец, нас стало заедать. Приходишь, бывало, в порт, вот он, таможенный досмотр, ходит и поглядывает, во все уголки нос засовывает:

— Что у вас тут? А под койкой что? А в вентиляторе что?

И ничего не находит.

А тут, смотрите, один нашелся такой скорпион, то есть досмотрщик, что ничего ему не надо искать, прямо:

— Вот эту доску мне оторвите!

— Как так рвать? А назад кто ее пришивать будет?

— А если ничего там нет, то все в прежний вид приведу я. А как обнаружено будет к провозу не дозволенное, то сами должны понимать...

И пальчиком стукнет:

— Вот в этом самом месте.

Чиновник, что с ним ходит, брови поднимает, ему в глаза засматривает:

— Так ли, мол, как бы сраму не было?

А этот скорпион долбит пальчиком:

— Небеспрменно здесь.

Рвут доску — и как чудо: в том самом месте штука шелка.

Потом идет тихонечко в кочегарку, сразу в угольную яму.

— Вот тут копайте.

А в этих угольных ямах угля наворочено гора, и раскидывать его некуда, да и темнота, только лампочка электрическая коптит. А он, как конь, ногой топчет этот уголь:

— Здесь копайте.



А он, как конь, ногой топчет этот уголь: — Здесь копайте.

Роят.

— Ну, — говорят, — ничего там не сыщешь, тебя туда самого закопаем живого.

В этот уголь чиновник поневоле лезет. Назло ребята пыль поднимают, уголь швыряют лопатами, как от собак отбиваются. Гром стоит — ведь железо кругом. Коробка это железная — угольная-то яма. Называется только так. Чиновник чихает, платочком рот прикрывает. А скорпион все ниже лезет и лампочку на шнурке тянет.

— Зачем левой берешь? Нет, ты вот здесь, здесь копай. Ага! Это что?

И лапами, что когтями, — цап! Пакет. Наверх, на палубу. Тут распутывать, разворачивать — бумажки. Какие такие бумажки? Хлоп — и

жандарм тут.

— Эге-с! — говорит жандарм. — Понятно-с. Механика сюда! Капитана! Акт писать: найдены зарытыми бумажки, а бумажки насчет того, чтобы царя долой, фабрикантам по затылку, и вообще неприятные бумажки. А пришли из-за границы.

Потом слух проходит, что дознались: бумажки за границей печатались, даже журнальчик среди бумажечек нашли. Даже кипку изрядную. Журнальчик-то на тоненькой бумажке отпечатан.

Тут всю машинную команду перетрясли. Водили, допрашивали.

Двоих так назад и не привели.

А скорпион этот уже гоголем ходит. То есть как это сказать? Он до сих пор змеей смотрел, а уж теперь прямо аспидом. Идешь мимо, а он дежурным на переезде стоит и провожает тебя глазами, как из двухстволки целит. И видать, трусит, как бы кто его не угораздил булыжником. Оружие им не полагалось по форме, но этому, слышно было, выдали револьвер, чтобы держал в кармане на случай чего. И все это знали.

Чиновник при всех ему говорил:

— С тобой бы, Петренко, клады в лесах искать. С тобой и рентгена никакого не надо. Как это ты? А?

— Это, ваше высокородие, нюх и практика.

Однако, взяли двух. Но мы-то с Сенькой остались на пароходе. На берегу мы с ним имели совет меж собой. Ясно, что глаза скорпионовы с нами плавают, кто-то смотрит, слушает и заваливает публику. И мудреного тут нет ничего. У кочегаров и матросов на носу общие помещения — кубрики: кочегарский и матросский. По борту — койки в два этажа и по переборке такие же. Посреди стол. В углу икона, а над койками карточки, картинки разные. Все вместе едят, вместе спят. Тут чуть что пошептал, сейчас всем видать и все слышать. Протрепались ребята или без оглядки языком били, только это уже факт, что есть засыпайлы какие-нибудь меж своих же. А вот кто? Стали план разбивать: кто бы это был и как его узнать? А на пароходе стало совсем паршиво: все друг на друга волком. Всякий думает: «Это ты засыпал». Да и верно. У одного два несчастных фунта цейлонского чаю, и то нащупал этот скорпион. Его ребята угощать пробовали. Откупорят заграничную бутылку, ему стакан. Выпьет, губы оботрет: «Доброе вино! А в сундучке у вас как?»

Но нам с Сенькой было задание — держать связь с заграницей, доставлять журнал. А тут на! Провалили, и двое людей засыпалось. Это с какими глазами мы туда выставимся! Хоть списывайся на берег да на другой пароход. И тут наши товарищи, здешние, стали срамить; нас с

Сенькой такая досада взяла, что тех двух арестованных, кочегаров этих, даже и не жалели. Ругали прямо.

А в комитете нам сказали:

— Товарищи дорогие, мы уж и не знаем, как вам и доверять. То есть ребята вы, может, и верные, но нам сейчас швыряться сотнями номеров нельзя. Время горячее. Это не шутки. Не коньяк в пазухе проносить. Мы другой путь будем искать.

И все на нас глядят, и каждый думает, что мы с Сенькой шляпы и свистунки.

— Вы, — говорит, — товарищи, обдумайте.

Тогда я говорю:

— Этот рейс мы не беремся: действительно, надо все проверить. И мы скажем, а когда скажем, то уж... одним словом, скажем.

Чего тут было говорить? Пошли мы, как оплеванные. Но про доносчика этого решили, что выловим и тогда уж его, гада, просто в воду за борт. Мало ли что, упал человек за борт. Ночью. Бывает же такое.

Всех мы перебрали с Сенькой, всех обсудили. Да нет, все будто одинаковые. На всякого можно подумать. И вот что выдумали. Выдумали мы уже в море, когда снялись, а совсем уговорились в персидском порту, в Басооре.

Принимали мы там хлопок. Это как бы побольше кубического метра тюк. Он зашит в джут. И затянут двумя железными полосами, как ремнями. Вата, а в таком тюке четырнадцать пудов ее. Это ее прессом так прессуют, что она там, в этом пакете, как камень. Даже не мягкая ничуть.

И вот наш план.

Будем говорить в кубрике за столом вдвоем по секрету. И смотреть, чтобы только один человек мог нас слушать. И начисто никто больше. И говорить будем, как вроде секрет меж собой. Так к примеру: «Так ты не забыл, значит, как это место (тюк, значит) пометил?» А другой должен говорить: «Нет, на каждой стороне красная точка в пятак». — «А сколько там номеров?» — «А две сотни газет положено, так сказывали».

А при другом говоришь, что не точка, а кресты по- углам черные. И для каждого разные марки. И, чтобы не спутать, Сенька все себе запишет где-нибудь.

Нас на погрузке ставили трюмными; это значит стоять в трюме и глядеть, чтобы грузчики правильно раскладывали груз. Грузчики — персы, значит, что я ни делаю, рассказать они не могут. А потом я над ними вроде распорядитель всех делов. Сенька у себя во втором — тоже. Каждый взял по ведерку с краской и кисточку. Это мы наперед приготовили. И жара там,

в Бассоре, немыслимая. Краска стынет, как плевок на морозе. Вот я делаю вроде тревогу, персы на меня смотрят. Я сейчас с ведерком и мечу красным тюк. Они думают, что это надо по правилу. Я приказываю: осторожно, не размажь и кати его туда. Они слушают. Уж к обеду мы все марки наши поставили — 27 марок по числу людей. Теперь осталось 27 разговоров устроить. И чтобы виду не показать, что мы это «на пушку» только.

Первый раз чуть все не пропало. Сенька — смешливый. Я при Осипе так серьезно начинаю:

— А ты, — говорю, — помнишь, какую ты марку ставил?

И вижу — Сенька со смеху не прожует. Меня в смех вводит. Не могу на него глядеть.

— Ты выйди на палубу, — говорю, — погляди, француз нас догоняет, Мессажери.

Он еле до порога добежал. Ну, что ты с таким станешь делать? Я уж думал, пропало наше дело.

Потом ему говорю:

— Если ты мне на разговор смешки начнешь и комики разные строить, то, чтобы мне сгореть, я тебя тут же вот этой медной кружкой по лбу. Разобрал?

Опять, что ли, с Осипом наново начинать? Оставили его напоследок. Взяли Зуева. Он все папиросы набивал. Сядет с гильзами и штрикает, как машина. Загонял потом их тут же промеж своих, кто прокурит. Он себе штрикает, а мы вроде не замечаем. Начали разговор.

Сенька со всей, видать, силой собрал губы в трубку и не своим голосом, как удавленник:

— Красным крестом метил.

Ходу нам до дому месяц, и за месяц мы всех 27 человек разместили на все наши 27 марок и всех записали.

Потом я Сеньку спрашиваю:

— На кого думаешь?

— На Осипа. Он аккурат присунулся ближе, как как ты сказал, что двести номеров. А ты на кого?

А я сказал, что Кондратов. И потому Кондратов, что он сейчас же встал и отошел. Только услышал, что кружком мечено, и сейчас же запел веселое, вроде нигде ничего, и вон вышел.

Простак, гляди, какой!

— На Осипа, — говорю, — думать нечего. Он человек семейный, ему подработать без хлопот, да вот сахару не ест, домой копит.

А уж к порту подходили, я уж совсем смешался, на кого думать.

Семейный, а может быть, он самый и есть предатель, этим и подрабатывает. Другой вот: Зуев; чего он веселый, надо — не надо? Чего он ломоты эти строит? Так его и крутит, будто штопор в него завинтили. Из кочегаров двое тоже были у нас на мушке. Потом нам стало казаться, что на нас все по-волочьи глядят. Может, меж собой рассказывали про наш разговор? Уж не знали, как до порта дойдем.

Однако, ничего. Опять чиновник к нам, опять этот самый скорпион, жандарм, все, как полагается. Но только началась выгрузка, видим, бессменно, скорпион стоит и каждый подъем глазом так и облизывает. Мы тоже поглядываем. Грузчики на берегу берутся по четыре человека, таскают эти тюки и городят из них штабель. Вдруг этот скорпион:

— Эй, эй, неси прямо в проходную таможеню! Неси, неси, не рассказывай.

Хорошо, я заметил, а то сами бы мы проморгали, — с красным крестом на углу.

Я в заметку — Зуев.

Но уже по всему пароходу шум: понесли тюк хлопка в таможеню. Сейчас уж чиновник пришел на пароход, приглашает немедленно нашего старшего помощника — капитан в городе был, на берегу. Еще двоих понятых из команды. Боцман говорит мне: «Ты пойдешь». И еще кочегар один. Приходим. Комнатка небольшая, всего одна скамейка по стене. Два окошка. В окошки люди глядят. Посреди этот тюк. Чиновник стоит, губки облизывает. А скорпион весь на взводе. Шепчет чиновнику грозно что-то в ухо. Чиновник уж перед ним так и ахает.

— Ах, скажите, пожалуйста, да уж знаю, знаю, насквозь видишь, рентген!

Ждали жандарма. Вот и жандарм. Послали кочегара за кусачками. Живо принес. Наш старший помощник говорит:

— Пишите акт, что вот кипа хлопка в четырнадцать пудов, что по вашему требованию, что вы отвечаете.

Чиновник со смешком:

— Па-ажалуйста, сделайте ваше любезнейшее одолжение. — Тут же на скамейке папку расстелил и пишет.

— Откупоривай, — говорит помощник кочегару.

— Есть! — И кочегар — хлоп-хлоп! — перекусил обручи. Кипа, как живая, поддала спиной и распухла.

— Режь!

Полоснул кочегар по джуту, раскрыл: белая вата плотно лежит, будто снег, лопатой прибитый.

— Начинай, — шепотком говорит чиновник.

И начал скорпион сдирать слой за слоем эту вату. Чиновник тут же крутится. В окна столько народу нажало, что в комнате темно стало. Жандарм два раза ходил отпугивать. А ваты все больше да больше. Копнет ее скорпион, ломоток один, а начнет трепать — глядишь, облако выросло. Чиновник уж весь в пуху, пятится. Дорогие мои! Скорпион еще и четверти кипы этой не отодрал — полкомнаты ваты, и уж окно загородило. Он уж в ней по пояс стоит, как в пене, и уж со злости огрызается, рвет ее клочьями, ямку посередине копает.

Кочегар говорит:

— Пилу, может, принести?

Чиновник как гаркнет:

— Вон отсюда, мерзавец!

А наш старший:

— Это как же? Занесите в акт: оскорбили понятого.

Мы уж к двери пятимся, вата на нас наступает. Чиновник видит: костюм уж не уберечь, там же роется.

Их уж там не видно стало, как во сне потонули вовсе. А старший наш кричит:

— Ничего не видать, может, обман, может еще сами подложите чего?

Уж и взбеленился чиновник, выбегает оттуда: домовый, не домовый, — чучело белое, вата на нем шерстью. Эх, тут как заорут ребята:

— Дед-мороз!

Он назад. Они там с досмотрщиком вату топчут, примять хотят, да где! Она пухнет, всю комнату завалила, а полкипы еще нет.

Выскочил таможенный чиновник.

— Мерзавец! — кричит. — Запереть его там.

И побежал домой. Мальчишек за ним табун целый. Я на пароход. К Сеньке. «Где Зуев»? — «Сейчас был». Мы туда-сюда, нет Зуева. Так больше и не видал его никто. Сундучок его сдали в контору. И за сундучком никто не пришел.

УТОПЛЕННИК

*И утопленник стучится
Под окном и у ворот.*

С. Пушкин

Усталый, плыл я к нашей купальне в порту. Вдруг слышу, на пристани кричат; поглядел: разряженные дамы махали зонтиками, мужчины показывали в воду котелками, тросточками. А ну их, они пришли пароход встречать! Я хотел повернуться и поплыть на боку, но они взревели еще громче, тревожней. Я огляделся: вон из воды показались руки. Пропали. Вот голова — и опять нырнула в воду. И я разобрал, что кричат: «Тонет, тонет!» Откуда силы взялись? Я мигом подплыл!

Вот высунулось из воды лицо, и на меня глянули сумасшедшие глаза. Я поймал его руку. И в тот же миг он прижался ко мне, обвил ногами, впился ногтями в мою руку. Мы тихо пошли ко дну. И тут я, не помня себя, рванулся. Я не заметил тогда, что в кровь разодрал он мне руку: у меня и сейчас на руке его отметины. Я выскочил,дохнул. Но вот он тут и сейчас опять схватит меня. Я отскочил, подплыл сзади. Я схватил его за волосы и ткнул под воду. Он попытался выплыть, но я ткнул его снова. Он затих и медленно пошел ко дну. Тогда я поймал его за руку, легко поднял, повернул и толкнул его подмышки — он продвинулся вперед, весь обвисший, как мешок. Я толкал его рывками прямо к берегу. Я ждал, вот сейчас дадут шлюпку — и мы спасены. Но шлюпки не было... Я боялся, что у меня не хватит сил, и глянул на пристань.

Шикарная, праздничная публика стояла плотной стеной у края пристани. Они смотрели, как на цирковой номер. Махали мне и кричали: «Сюда! Скорей!» Теперь мне оставалось саженой десять. Я задыхался.

Фу вот я у свай! Осклизлые сваи стоят прямой стеной, а подо мной двадцать футов воды. А сверху сыплется песок из-под чьих-то ног, и я слышу: «Слушайте, куда вы меня толкаете, ведь я упаду в воду сейчас! Не вам одному хочется... Ах, какой ужас, он его утопил! Но все-таки, слава богу!»

Я не мог больше, я хотел бросить утопленника, пусть достают баграми, чем хотят. Я искал, за что зацепиться. Глядел вверх, а там — полные оживления, любопытные лица. Ой, вот костыль! Костыль забит в

сваю. Фу ты! Не достать его, четверть аршина не достать! Я набрался последнего духу, толкнул утопленника вниз, сам подскочил вверх и повис на двух пальцах на костыле. В правой руке под водой был утонувший.

Наверху разноцветные зонтики и вскрики:

— Ах, ужас! Он висит! Пусть он лезет. Сюда! Сюда! Он ничего не слышит. Крикните ему!

У меня пальцы, как отрезанные, сейчас пуцу. И слышу:

— Га! Бак бана... [5]

Я вскинул голову: сносчик-турок разматывает свой пояс. Я разжал пальцы. А вот уж и пояс, тканый, широкий, как шарф, и на конце приготовлена петля.

Я сунул в нее руки утонувшего и затянул петлю. Не помню, как я доплыл до своей купальни. Я еле вылез и упал на пол. Не мог отдышаться. Кровь стучала в висках, в глазах — красные круги. Но я опять стал слышать, как гомонит и подвизгивает народ — это публика над утопленником. Тьфу, начнут еще на бочке. катать или на рогоже подбрасывать — погубят моего утопленника.

Я вскочил на ноги и как был, голый, выскочил из купальни. Толпа стояла плотным кругом. Зонтики качались, как цветные пузыри, над этим гомоном.

Я расталкивал толпу, не глядя, не жалея. Вот он лежит навзничь на мостовой, мой утопленник. Какой здоровый парень, плотный, я не думал, что такой большой он. И лица я не узнал: спокойное красивое лицо, русые волосы прилипли ко лбу.

Я стал на колени, повернул его ничком.

— Да поддержи голову! — заорал я на какого-то франта. Он попятился. Я искал глазами турка. Нет турка. Стой, вот мальчишка, наш, гáванский.

— Держи голову.

Теперь дело пошло. Я давил утопленнику живот. Ого! Здорово много вытекло воды! Нет, больше не идет.

Теперь надо на спину его, вытянуть язык и делать искусственное дыхание. Скользкий язык не удержать.

— Дайте платок, носовой платок! — крикнул я зрителям.

Они дали бы фокуснику, честное слово, дюжина платков потянулась бы, но тут только спрашивали задних:

— У вас есть платок? Ну, какой! Ну, носовой, обыкновенный!

Я не вытерпел: вскочил, присунулся к какому-то котелку и замахнулся:

— Давай платок!

И как он живо полез в карман, и какой глаженный платочек вынул!

Теперь мальчишка держал обернутый в платок язык утопленника, а я оттягивал ему руки и пригибал к груди.

Мне показалось, что первый раз в жизни ядохнул — это вот с ним вместе, с его первым вздохом.

Мальчишка уже тер своей курткой ноги и бока этому парню. Тер уж от всего сердца, раз дело шло на лад. Утопленник-то! Ого! Он уж у меня руки вырывает, глаза открыл. Публика загудела громче.

Утопленник приподнялся на локте, икнул, и его стало рвать. С меня катил пот. Я встал и пошел сквозь толпу к купальне.

Дамы закрывались зонтиками и говорили:

— Я думала, они бледнеют, а глядите, какой красный! Да посмотрите!

Они меня принимали за утопленника.

Одежду мою украсть не успели.

Через полчаса я отлежался, оделся и вышел. Никого уже не было. Пришел пароход, и на нем мыли палубу.

Дома я завязал руку.

А через три дня перестал даже злиться на зонтики. И забыл про утопленника: много всякого дела летело через мою голову.

Да, вот тоже с утопленниками. Уходил пароход с новобранцами. Мы с приятелем Гришкой на шлюпке вертелись тут же. Пароход отвалил, грянула музыка. И вдруг с пристани одна девица крикнула пронзительно:

— Сеня! Не забывай! — и прыг в воду.

— И меня тоже!

Глядим и другая летит следом. И барахтаются тут же, под сваями. Мы с Гришкой мигом на шлюпке туда. Одну выхватили из воды, а она кричит:

— А шляпку! Шляпку-то!

Но мы скорей к другой, вытащили на борт и другую. Пока шляпку ловили, они уже переругались:

— Тебя зачем туда понесло?

А другая говорит:

— А ты думала, ты одна отчаянно любишь?

Гришка говорит?

— Да он и не видал.

Та шляпку вытряхивает, ворчит:

— Люди видали, напишут.

Нет, это не дело, и стали мы сетки налаживать: ждали скумбрию с моря и все готовились. Возились мы до позднего вечера.

Раз прихожу домой. Мне говорят, что ждет меня человек, часа уже три

сидит.

Вошел к себе. Вижу — верно: сидит кто-то. Я чиркнул спичку: парень русый, в пиджачке, в косоворотке. Встал передо мной, как солдат.

— Вы, — говорит, — такой-то?

По имени, отчеству и по фамилии меня называет. Я даже струхнул. «Каково? — думаю. — Начинается!» И все грехи спешно вспомнил: очень уж серьезно приступает к делу.

— Да, — говорю, — это я самый.

И парень мой как будто в церкви: становится на колени и бух лбом об пол. Я тут и опомниться не успел — отец мой со свечкой в дверях:

— Это что за представление?

Парень мой вскочил. Отец присунул свечку к его лицу.

— Что это за балаган, я спрашиваю? — крикнул отец.

Парень смотрел потерянно и лепетал:

— Я Федя. Они меня из воды вынули. Мамаша велела в ножки.

— Что-о? — отец со свечой ко мне. — Ты что же, Николая угодника здесь разыгрываешь? А?

Я уже догадался, что это тот самый паренек, которого я с месяц назад выволок из воды. Я не знал, как отцу сразу все объяснить, но тут Федя уже тверже сказал:

— Честное слово, будьте любезны. Это я был утопленник, а они меня спасли. Благодарность обещаю...

— Никаких мне утопленников здесь! — и отец так махнул свечой, что она погасла. — Вон!! — и ногами затопал.

Федя попятился.

— Ну, я уж как-нибудь... — бормотал Федя с порога.

А отец не слушал, кричал в темноте:

— Двугривенные бакшиши собирать! Мерзость какая! Вон!

Но тут и я улизнул из темной комнаты. За шапку — и к Гришке.

— Ну, как мне было Федю узнать? Из воды он глядел на меня, как сумасшедший из форточки. А тут на тебе: молодец молодцом, с прической на пробор, пиджачок, да и в сумерках-то. Кто его разберет! И вот оскандалил, хоть домой теперь не иди.

Уже все легли, когда я вернулся. Наутро объяснил матери, как было дело, пусть уговорит отца. А она посмеялась, однако обещала.

Вечером иду домой. И вот только я в ворота — тут, как из стенки, вышел Федя.

— Мы очень вами благодарны. Мы бы на другой день, тогда же, явились. Ноги, простите, так были растерты. И вот, бока, руки только

раскоряченными держать можно: до чего разодрал, дай бог ему здоровья, мальчик этот Пантюша. Мамаша маслом на ночь мне мажут третью неделю. Такой маленький, скажите, мальчик, а как здоров-то! Ах, спасибо!

Это он скороговоркой спешил сказать, а я уж брался за двери:

— Ну, ладно. Заживет. Прощайте!

Но Федя взял меня за руки:

— Нет, я не войду, не бойтесь. Папаша ваш чересчур серьезный. А я благодарность вашей девушке передал.

— Стой! — сказал я и толкнул Федю в дверь. Я позвал нашу девчонку и в сенях втихомолку велел принести сюда Федину благодарность. Дверь я держал, чтобы Федя не выскочил.

Девчонка приволокла голову сахару, а потом пудовый мешочек муки «четыре нуля», и, смотрю, еще тащит — мыла фунтов десять, два бруска.

— Забирай! — шепотом закричал я в ухо Феде.

— Дорогой, милый мой человек! — Федя чуть не плакал, но тоже шепотом (оба мы боялись моего отца). — Золотой ты мой! Мамаша мне наказала, чтобы вручить. Говорит, коли не отблагодаришь, так ты у меня сызнова потонешь. Да это хоть кого спроси. Я же в лабазе работаю, на Сретенской, у Сотова. Ты возьми это, дорогой, и квиты будем. А мамаша каждый день за тебя богу все равно молит. Борисом ведь звать? Возьми, дорогой. Как же я домой пойду? Мамаша...

— А я как? — и я кивнул на дверь. — Папаша!

— Как же мы теперь с тобой будем, друг ты мой милый?

Но тут я услышал, как под отцовскими шагами скрипят ступеньки нашей лестницы.

— А ну, гони отсюда ходом, — шепнул я Феде и пошел в дом.

Наутро я узнал, что гаванский Пантюшка вчера угощал всех папиросами «Цыганка» первого сорта, а сейчас лежит больной — определили, что от мороженого.

Я пошел к Пантюшке.

Как только все вышли, я спросил:

— Пантик, откуда папиросы?

— А оттуда. Федя дает. Ну да, не знаешь? Федя- утопленник. Я его натер, он теперь аж до той пасхи помнить будет.

Я пообещал Пантюшке оторвать оба уха.

— А что? Я же не прошу, он сам дает.

— Меня тоже не надо просить, я сам дам! — и я погрозил Пантюшке кулаком.

Теперь уж, шел ли я домой или из дому, всегда поглядывал, не

караулит ли где Федя.

Девчонка наша сказала мне, что в воскресенье Федя час, если не два, ходил под окнами.

Так прошел месяц. Я уходил за рыбой в море и редко бывал дома. Потом как-то, в праздник, я оделся в чистое и пошел в город. Я уже поднялся на спуск, как тут заметил, что за мной все время кто-то идет. Оглянулся — Федя-утопленник. Он сейчас же нагнал меня:

— Милость мне сделайте и уважение старой женщине, тут недалеко, зайдите! Живой рукой. Мамаша, не поверите, высохли вовсе.

Он так просил, что я решился: зайду и объясню, чтоб больше не приставали и чтоб никаких мне больше утопленников!

Жили они в комнатухе с кухней. Чистенько, и все бумажками устлано: и плита и полочки: «Старуха» была крепкая, лет сорока пяти.

Она мне и в пояс поклонилась, хотя я не старше был ее Федьки. А потом глянула на меня очень крепенько.

— Что ж это вы, — говорит, — молодой человек, как бы сказать, чванитесь? Вам господь послал человеку жизнь спасти, слов нет — спасибо, — она снова поклонилась, на этот раз уж не очень. — А что же выходит? Вы благодарность нашу ногой швыряете, а сами должны понимать, вы не мальчик: он у меня один, смерть за ним ходила, слава Христе, — она твердо перекрестилась, — смерть не вышла ему, и должны мы это дело искупить. А если мы это указание оставим без внимания, то, значит, снова нас оно мучить будет, и тогда уже ему... — она огляделась, — тогда ему уж прямо в ведре утонуть может случиться. На это вы его навести хотите, молодой человек? Да? — и уж такими она на меня злыми глазами глядела, так бы вот и прошпилила насквозь. — Молчите? А то, что мать сохнет, что я его каждый день точу: возблагодарил? А то, что я листом осиновым дрожу, думаю: как же это он останется в воде неплаченный. А? Это вам нипочем? В баню пойдет, так я как на углях, пока воротится.

— Так что же вы хотите? — я уж стал пятиться к двери.

— Что хотим? — закричала мне в лицо эта мамаша. — Да ты-то что, ирод, хочешь? Бочку золота хочешь? Нет у нас бочек! С огурцами у нас кадушка, с огурцами! Так какого тебе рожна еще подать, чтоб ты взял, креста на тебе нет! На, на самовар, — она схватила с полки медный самовар и тыкала им мне в живот. — Подушку? Федор, подавай подушки!

Она поставила самовар мне под ноги, бросилась к кровати, — там, как надутые, лежали пузырями две громадные подушки.

С этими подушками она пошла на меня.

Я бросился к дверям. Ах ты, дьявол! Когда их успел запереть Федька?

— Мадам, успокойтесь! — сказал я. — Вы просто дайте мне копеечку на счастье, и будем квиты.

— Это за кошку дают! — закричала мамаша. — За кошку выкуп! Так вот как? Тебе что Федя мой, что коценок — одна цена? А я за тебя три молебна служила.

— Ладно, — говорю, — ладно: пусть завтра Федя приходит, я скажу, мы порядим и будем квиты.

— Ступайте, молодой человек, только вижу я, что вы за гусь! Завтра, так завтра. Ишь ведь, и цены себе не сложит! Проводи, Федор!

Я уж за дверью слышал, как она сказала:

— Послал господь!

Мы вышли с Федей.

— Ну и мамаша, — говорю, — у тебя: коловорот.

— Да не покрепче вашего папаши будет. Тот раз думал: порешат они меня подсвечником. Как ноги только унес!

— Слушай, Федор. Ну их, с родителями! Давай сами поладим. Возьми ты у мамыши своей, что она там, голову сахару, что ли, или мыло — «благодарность», одним словом, и занеси ты ее, благодарность эту куда-нибудь к чертям в болото. Ну, старухам в богадельню какую-нибудь. Или хочешь: продай да пропей. Понял? И квиты.

Я зашагал, Федя за? мной.

— Никак этого невозможно. Как же я перед мамашей-то солгу? Видали сами; они на три аршина в землю видят, мамаша. Обманите, если умеете, вы своего родителя, скажите: вроде купили.

— Иди ты! — и я выругался. — И чтоб тебя не видал никогда. Сунься ты к нам в гавань, — вот истинный бог, скажу ребятам: они тебе нос утрут в лучшем виде.

Федя все что-то говорил, но я шагал во весь мах и повторял:

— Чтоб и ноги твоей... и духу твоего! Чтоб ни под окном, ни у ворот!..

Я завернул в какой-то двор. Федя отстал. Я выждал минут десять — и домой.

Дома я матери рассказал, что нет никакого сладу с утопленником, что у него мамаша объявилась и чуть меня эта мамаша в самоваре не сварила, что если эта мамаша сохнет, то пусть она в порошок рассыплется — не чихну; туда ей, выжиге, и дорога.

Я долго ругался и махал руками.

Мать сказала мне, что не надо дураком быть, но я не дал ей больше говорить, а стал кричать, что у Пантюшки уже вся стенка в объявлениях:

«Чай Высоцкого» и «Лучшая питательная овсянка „Геркулес“», и что от чернослива его скоро наизнанку вывернет.

Но мать махнула рукой и вышла из комнаты.

Однако же, Федьку-утопленника, видно, проняло; вот уже две недели, а его как ветром сдуло. Пантюшка пробовал узнавать, где утопленник квартирует или в каком лабазе приказчиком. То-то, ага!

Но «ага» вышло вот какое. Собирался как-то отец на службу. Стоит в прихожей, чистится щеткой. Тут звонок. Я выхожу, а отец уж двери открыл, смотрю: батюшки! Федора мамаша. Желтая, злая. Так в отца глазами и вцепилась. Черная шерстяная шаль на ней и вся, как в крови, в красных букетах. И под платком что-то оттопыривается: прямо будто с топором пришла и сейчас кого первого по головке тыпнет. У меня душа в пятки.

Отец:

— Вам кого?

А эта глазами с отца на меня.

— Да уж кто поправославней, того бы мне.

— А здесь не святейший синод, сударыня, — и вижу: отец шагнул к ней со щеткой.

Тут, слышу, мать быстренько каблучками стучает — и сразу из дверей.

— Это ко мне. Проходите, пожалуйста.

И как-то ловко эту выжигу под локоть, и, пока отец поворачивался, она уже и дверь закрыла.

— Это что за сваха такая? — спросил отец. Но взглянул на часы и поспешил вон.

Я хотел было следом за ним: от греха. Но слышу, за дверью разговор идет тихий. Я немножко переждал и тихонько отворил дверь. Стал на пороге.

Ничего. Вижу: мать ее чаем угощает — еще чай со стола прибрать не успели. Та с блюдечка спокойно тянет и говорит:

— Да-с! А сынок ваш, сударыня, за моего Федю копейку спросил.

— Без запросу, — говорит мать и улыбается.

— То есть как? — и блюдечко на стол поставила. — Вот этот кавалер Федю моего в копейку ценит, — и тычет на меня пальцем.

Мать мне мигнула: молчи, дескать. А сама спрашивает:

— Ну, а ваша цена?

— Как, то есть, цена? — и вытаращила глаза на мою мать.

— Вот, говорите, копейку — это он малую очень цену поставил, вы недовольны. Так ваша какая будет цена? Рубль? Два с полтиной? Красненькая?

Федина мамаша даже шаль с головы стянула и глазами заморгала.

— Что это? А ты своего во сколько? Вот этого?

— Да он не теленок, я им не торгую.

— А мой-то — гусь, что ли? — и привстала, к матери присунулась. Думал, вцепится.

А мать говорит:

— А коли не гусь, так за чем же дело стало? Нечего ни продавать, ни на сахар менять.

Та так и села. Глазами хлопает, молчит. Минуту добрую молчала, потом руки развела, опять свела.

— Милая, да как же это у нас вышло-то... что Федя-то — не гусь. Тьфу, что я... не тот... ну, как оно? Ох, да и грех! — рассмеялась. — Ох, милая, да и что ведь Федя надумал уже: «Дайте, говорит, мамаша, я его в воду невзначай спихну, да и сам сейчас прыгну и пока что вытащу. Это — чтоб на квит вышло». А я говорю: «Феденька, бойся ты теперь этой воды, сам, гляди, утонешь и, неровен час, он опять тебя же вытащит».

«Нет, — думаю я, — уж теперь не тащил бы: натерпелся я, уж пусть кто-нибудь, только боюсь я теперь утопленников».

Тут она стала мою мать целовать. Шаль накинула — и к дверям.

— Будем знакомы!

А мать:

— Сахар-то, сахар забыли.

Гляжу: верно, голова сахару осталась на полу.

Я подал.

А Федя стал к нам в гавань приходить рыбу ловить. Прозванье так за ним и осталось: Федя-утопленник. Давно это было. Теперь, пожалуй, в наших водах такого не выловишь.

МЕХАНИК САЛЕРНО

1

Итальянский пароход шел в Америку. Семь дней он плыл среди океана, семь дней еще оставалось ходу. Он был в самой середине океана. В этом месте тихо и жарко.

И вот случилось в полночь на восьмые сутки.

Кочегар шел с вахты спать. Он шел по палубе и заметил: какая горячая палуба. А шел он босиком. И вот голую подошву жжет. Будто идешь по горячей плите. «Что такое? — подумал кочегар, — Дай проверю рукой». — Он нагнулся, пощупал. — «Так и есть, очень нагрета. Не может быть, чтобы с вечера не остыла. Неладно что-то». И кочегар пошел сказать механику. Механик спал в каюте. Раскинулся от жары. Кочегар подумал: «А вдруг это я зря, только кажется. Заругает меня механик: чего будишь, только уснул».

Кочегар забоялся и пошел к себе. По дороге еще раз тронул палубу. И опять показалось — вроде горячая.

2

Кочегар лег на койку и все не мог уснуть. Все думал: сказать, не сказать? А вдруг засмеют? Думал, думал, и стало казаться всякое, жарко показалось в каюте, как в духовке. И все жарче, жарче казалось. Глянул кругом — все товарищи спят, а двое в карты играют. Никто ничего не чувствует. Он спросил игроков:

— Ничего, ребята, не чувствуете?

— А что? — говорят.

— А вроде жарко.

Они засмеялись.

— Что ты, первый раз? В этих местах всегда так. А еще старый моряк!

Кочегар крикнул и повернулся на бок. И вдруг в голову ударило: «А что как беда идет? И наутро уже поздно будет? Все пропадем. Океан кругом на тысячи верст. Потонем, как мыши в ведре».

Кочегар вскочил, натянул штаны и выскочил наверх. Побежал по

палубе. Она ему еще горячей показалась. С разбегу стукнул механику в двери. Механик только мычал да пыхтел. Кочегар вошел и потолкал в плечо. Механик нахмурился, глянул сердито, а как увидел лицо кочегара, крикнул:

— Что случилось? — и вскочил на ноги. — Опять там подрались?

А кочегар схватил его за руку и потянул вон. Кочегар шепчет:

— Попробуйте палубу, синьор Салерно.

Механик головой спросонья крутит — все спокойно кругом. Пароход идет ровным ходом. Машина мурлычет мирно внизу.

— Рукой палубу троньте, — шепчет кочегар. Схватил механика за руку и прижал к палубе.

Вдруг механик отдернул руку.

— Ух, черт, верно! — сказал механик шепотом. — Стой здесь, я сейчас.

Механик еще два раза пощупал палубу и быстро ушел наверх

3

Верхняя палуба шла навесом над нижней. Там была каюта капитана.

Капитан не спал. Он прогуливался по верхней палубе. Поглядывал за дежурным помощником, за рулевым, за огнями.

Механик запыхался от скорого бега.

— Капитан, капитан! — говорит механик.

— Что случилось? — И капитан придвинулся вплотную. Глянул в лицо механику и сказал:

— Ну, ну, пойдете в каюту.

Капитан плотно запер дверь. Закрыл окно и сказал механику:

— Говорите тихо, Салерно. Что случилось?

Механик перевел дух и стал шептать:

— Палуба очень горячая. Горячей всего над трюмом, над средним. Там кипы с пряжей и эти бочки.

— Тс-с! — сказал капитан и поднял палец. — Что в бочках, знаем вы да я. Там, вы говорили, хлористая соль? Не горючая? — Салерно кивнул головой. — Вы сами, Салерно, заметили или вам сказали? — спросил капитан.

— Мне сказал кочегар. Я сам пробовал рукой. — Механик тронул рукой пол. — Вот так. Здорово...

Капитан перебил:

— Команда знает?

Механик пожал плечами.

— Нельзя, чтобы знали пассажиры. Их двести пять человек. Начнется паника. Тогда мы все погибнем раньше, чем пароход. Надо сейчас проверить.

Капитан вышел. Он покосился на пассажирский зал. Там ярко горело электричество. Нарядные люди гуляли мимо окон по палубе. Они мелькали на свету, как бабочки у фонаря. Слышен был веселый говор. Какая-то дама громко хохотала.

4

— Идти спокойно, — сказал капитан механику. — На палубе ни звука о трюме. Где кочегар?

Кочегар стоял, где приказал механик.

— Давайте градусник и веревку, Салерно, — сказал капитан и закурил. Он спокойно осматривался кругом. Какой-то пассажир стоял у борта.

Капитан зашагал к трюму. Он уронил папироску. Стал поднимать и тут пощупал палубу. Палуба была нагрета. Смола в пазах липла к руке. Капитан весело обругал окурок, кинул за борт.

Механик Салерно подошел с градусником на веревке.

— Пусть кочегар смерит, — приказал капитан шепотом.

Пассажир перестал глядеть за борт. Он подошел и спросил больным голосом:

— Ах, что это делают? Зачем, простите, эта веревка? Веревка, кажется? — и он стал щупать веревку в руках кочегара.

— Ну да, веревка, — сказал капитан и засмеялся. — Вы думали, змея? Это, видите ли... — капитан взял пассажира за пуговку. — Иди, — сказал капитан кочегару. — Это, видите ли, — сказал капитан, — мы всегда в пути мерим. С палубы идет труба до самого дна.

— До дна океана? Как интересно! — сказал пассажир.

«Он дурак, — подумал капитан. — Это самые опасные люди».

А вслух рассмеялся:

— Да нет! — Труба до дна парохода. По ней мы узнаем, много воды в трюме или нет.

Капитан говорил сущую правду. Такие трубы были у каждого трюма. Но пассажир не унимался.

— Значит, пароход течет, он дал течь? — вскрикнул пассажир.

Капитан расхохотался как мог громче.

— Какой вы чудак! Ведь это вода для машины. Ее нарочно запасают.

— Ай, значит, мало осталось! — и пассажир заломил руки.

— Целый океан. — И капитан показал за борт. Он повернулся и пошел прочь. Впотьмах он заметил пассажира.

Роговые очки, длинный нос. Белые в полоску брюки. Сам длинный, тощий.

Салерно чиркал у трюма.

5

— Ну, сколько? — спросил капитан.

Салерно молчал. Он выпучил глаза на капитана.

— Да говорите, черт вас дери! — крикнул капитан.

— Шестьдесят три, — еле выговорил Салерно. И вдруг сзади голос:

— Святая Мария, шестьдесят три!

Капитан оглянулся. Это пассажир, тот самый. Тот самый, в роговых очках.

— Мадонна путана! — выругался капитан и сейчас же сделал веселое лицо. — Как вы меня напугали. Почему вы бродите один? Там наверху веселье. Вы поссорились там?

— Я нелюдим, я всегда здесь один, — сказал длинный пассажир.

Капитан взял его под руку. Они пошли, а пассажир все спрашивал:

— Неужели шестьдесят? Боже мой! Шестьдесят? Это ведь правда?

— Чего шестьдесят? Вы еще не знаете чего, а расстраиваетесь. Шестьдесят три сантиметра. Этого вполне хватит на всех.

— Нет, нет! — мотал головой пассажир. — Вы не обманете! Я чувствую.

— Выпейте коньяку и ложитесь спать, — сказал капитан и пошел наверх.

— Такие всегда губят, — бормотал он на ходу. — Начнет болтать, поднимет тревогу. Пойдет паника.

Много случаев знал капитан. Страх — это огонь в соломе. Он охватит всех. Все в один миг потеряют ум. Тогда люди ревут по-звериному. Толпой мечутся по палубе. Бросаются сотнями к шлюпкам. Топорами рубят руки. С воем кидаются в воду. Мужчины с ножами бросаются на женщин. Пробивают себе дорогу. Матросы не слушают капитана. Давят, рвут пассажиров. Окровавленная толпа бьется, ревет. Это бунт в сумасшедшем

доме.

«Этот длинный — спичка в соломе», — подумал капитан и пошел к себе в каюту. Салерно ждал его там.

6

— Вы тоже! — сказал сквозь зубы капитан. — Выпучили глаза — утопленник! А этого болвана не увидели? Он суется, носится за мной. Нос свой тычет, тычет, — капитан тыкал пальцем в воздух. — Он всюду, всюду! А нет его тут? — И капитан открыл двери каюты. Белые брюки шагнули в темноте. Стали у борта. Капитан запер двери. Он показал пальцем на спину и сказал зло:

— Тут, тут вот он. Говорите шепотом, Салерно. Я буду напевать...

— Шестьдесят три градуса, — шептал Салерно. — Вы понимаете? Значит...

— Градусник какой? — шепнул капитан и снова замурлыкал песню.

— С пеньковой кистью. Он не мог нагреться в трубе. Кисть была мокрая. Я быстро подымал и тотчас глянул. Пустить, что ли, воду в трюм?

Капитан вскинул руку.

— Ни за что — соберется пар. Взорвет люки.

Кто-то тронул ручку двери.

— Кто там? — крикнул капитан.

— Можно? Минуту! Один вопрос! — из-за двери всхлипывал длинный пассажир.

Капитан узнал голос.

— Завтра, дружок, завтра, я сплю! — крикнул капитан. Он плотно держал дверь за ручку. Потушил свет. Прошла минута. Капитан шепотом приказал Салерно:

— Первое: дайте кораблю полный ход. Не жалейте ни котлов, ни машины. Пусть ее хватит на три дня. Надо делать плоты. Вы будете распоряжаться работой. Идемте к матросам.

Они вышли. Капитан осмотрелся. Пассажира не было. Они спустились вниз. На нижней палубе беспокойно ходил пассажир в белых брюках.

— Салерно, — сказал капитан на ухо механику, — занимайте этого идиота чем угодно, что хотите, играйте с ним в чехарду! Анекдоты! Врите! Но чтобы он не шел за мной. Не спускайте с глаз!

Капитан зашагал на бак. Спустился в кубрик к матросам. Двое быстро смахнули карты на палубу.

— Буди всех! Всех сюда, — приказал капитан, — только тихо!
Вскоре в кубрик собралось восемнадцать кочегаров и матросов. С тревогой глядели на капитана. Молчали, не шептались.
— Все? — спросил капитан.
— Остальные на вахте, — сказал боцман.

7

— Военное положение! — крепким голосом сказал капитан.
Люди глядели и не двигались.
— Дисциплина — вот, — и капитан стукнул револьвером по столу. Обвел всех глазами. — На пароходе пожар.
Капитан видел: бледнеют лица.
— Горит в трюме номер два. Тушить поздно. До опасности осталось три дня. За три дня сделать плоты. Шлюпок мало. Работу покажет механик Салерно. Его слушаться. Пассажирам говорить так: капитан наказал за игру и драки. Сболтни кто о пожаре — пуля на месте. Между собой — об этом ни слова. Поняли?
Люди только кивали головами.
— Кочегары! — продолжал капитан. — Спасенье в скорости. Не жалеть сил!
Капитан поднялся на палубу. Глухо загудели внизу матросы. А впереди капитан увидал: Салерно стоял перед пассажиром. Старик-механик выпятил живот и покачивался.
— Уверяю вас, дорогой мой, слушайте, — пыхтел механик, — уверяю вас, это в Алжире... ей-богу... и арапки... танец живота. Вот так!
Пассажир мотал носом и вскрикивал:
— Не верю, ведь еще семь суток плыть!
— Клянусь мощами Николая-чудотворца, — механик задыхался и вертел животом.
— Поймал, поймал! — весело крикнул капитан.
Механик оглянулся.
Пассажир бросился к капитану.
— Все там играли в карты. И все передрались. Это от безделья. Теперь до самого порта работать. Выдумайте им работу, Салерно. И потяжелее. Бездельники все они! Все! Пусть делают что угодно. Стругают. Пилят. Куют. Идите, Салерно. По горячему следу. Застегните китель!

— Идемте, синьор. Вы мне нравитесь. — Капитан обхватил пассажира за талию.

— Нет, я не верю, — говорил пассажир упрямо, со слезами. — У нас есть пассажир. Он — бывший моряк. Я его спрошу. Что-то случилось. Вы меня обманываете.

Пассажир рвался вперед.

— Вы не хотите сказать. Тайна! Тайна!

— Я скажу. Вы правы — случилось, — сказал тихо капитан. — Станемте здесь. Тут шумит машина. Нас не услышат.

Капитан облокотился на борт. Пассажир стал рядом.

— Я вам объясню подробно, — начал капитан. — Видите вы вон там, — капитан перегнулся за борт, — вон вода бьет струей. Это из машины за борт.

— Да, да, — сказал пассажир, — теперь вижу.

Он тоже глядел вниз, придерживая очки.

— Ничего не замечаете? — сказал капитан.

Пассажир смотрел все внимательнее. Вдруг капитан присел. Он мигом схватил пассажира за ноги. Рывком запрокинул вверх и толкнул за борт.



Он мигом схватил пассажира за ноги. Рывком запрокинул вверх и толкнул за борт.

Пассажир перевернулся через голову. Исчез за бортом. Капитан повернулся и пошел прочь. Он достал сигару, отгрыз кончик. Отплюнул на сажень. Ломал спички, пока закуривал.

Капитан пошел наверх и дал распоряжение: повернуть на север. Он сказал старшему штурману:

— Надо спешить на север. Туда, на большую дорогу. Тем путем ходит

много кораблей. Там можно скорее встретить помощь.

Машина будто встрепелулась. Она торопливо вертела винт. Пароход заметно вздрагивал. Он мелко трясся корпусом — так сильно вертела машина.

Через час Салерно доложил капитану:

— Плоты готовят. Я велел ломать деревянные переборки. Сейчас машина дает восемьдесят два оборота. Предохранительные клапаны на котлах заклепаны. Если котлы выдержат... — И Салерно развел руками.

— Тогда постарайтесь дать восемьдесят пять оборотов. Только осторожно, осторожно, Салерно. Машина сдаст, и мы пропали. Люди спокойны?

— Они молчат и работают. Пока что... Их нельзя оставлять. Там второй механик. Третий в машине. Фу! — Салерно отдувался. Он снял шапку. Сел на лавку. Замотал головой. И вдруг вскочил:

— Я смеряю, сколько градусов.

— Не смей, — оборвал капитан.

— Ах да, — зашептал Салерно. — Этот идиот! Где он? — и Салерно огляделся.

Капитан не сразу ответил.

— Спит. — Капитан коротко свистнул в свисток и приказал вахтенному:

— Третьего штурмана ко мне.

— Слушайте, Гропани, вам двадцать пять лет...

— Двадцать три, — поправил штурман.

— Отлично, — сказал капитан, — вы можете прыгать на одной ножке? Ходить колесом? Сколько есть силы, забавляйте пассажиров! Играйте во все дурацкие игры! Чтобы сюда был слышен ваш смех! Ухаживайте за дамами. Вываливайте все ваши глупости. Кричите петухом. Лайте собакой. Мне наплевать. Третий механик вам в помощь, на весь день. Я вас научу, что врать.

— А вахта? — и Гропани хихикнул.

— Это и есть ваша вахта. Всю вашу дурость сыпьте. Как из мешка. А теперь спать!

— Есть! — сказал Гропани и пошел к пассажирам.

— Куда? — крикнул капитан. — Спать!

Капитан не спал всю ночь. Под утро приказал спустить градусник. Градусник показал 67. «85 оборотов», — доложили из машины. Пароход трясся, как в лихорадке. Волны крутым бугром расходились от носа.

Солнце взошло справа. Ранний пассажир вышел на палубу. Посмотрел из-под руки на солнце. Вышел толстенький аббат в желтой рясе. Они говорили. Показывали на солнце. Оба пошли к мостику.

— Капитан, капитан! Ведь солнце взошло справа, оно всходило сзади. За кормой. Вы изменили курс. Правда? — говорили в два голоса и пассажир и священник.

Гропани быстро взбежал наверх.

— О, конечно, конечно! — говорил Гропани. — Впереди Саргассово море. Не знаете? Это морской огород. Там водоросли, как змеи. Они опутают винт. Это прямо похлебка с капустой. Вы не знали? Мы всегда обходим. Там завязло несколько пароходов. Уж много лет.

Пожилая дама в утреннем платье вышла на голоса.

— Да, да, — говорил Гропани, — там дамы хозяйничают, как у себя дома.

— А есть-то что? — спросила дама.

— Рыбу! Они рыбу ловят! — спешил Гропани. — И чаек. Они чаек наловили. Они у них несутся. Цыплят выводят. Как куры. И петухи кричат: «Ку-ка-ре- ку!»

— Вздор! Вздор! — смеялась дама.

А Гропани бил себя в грудь и кричал:

— Клянусь вам всеми спиртными напитками!

Пассажиры выходили на палубу. Вертлявый испанец суетился перед публикой.

— Господа, пока не жарко, партию в гольд! — кричал он по-французски и вертел черными глазами.

— Будьте мужчиной, — говорил испанец и тряс за руку Гропани, — приглашайте дам.

— Одну партию до кофе. Умоляйте! — испанец стал на колени и смешно шевелил острыми усами.

— Вот так и будете играть, — крикнул Гропани, — на коленях!

— Да! Да! На коленях! — закричали дамы.

Все хохотали. Испанец делал рожи, смешил всех и кричал:

— Приглашайте дам!

Гропани поклонился аббату и сделал руку кренделем.

— Прошу.

Аббат замахал рукой.

— Ах, простите, я близорук.

Всем стало весело. Кто-то притащил клюшки и большие шашки. Началась игра: на палубе начертили крестики. Клюшками толкали шашки.

11

— Сегодня особенно трясет, — вдруг сказал испанец. — Я чувствую коленками. Не правда ли?

Все минуту слушали.

— Да вы посмотрите, как мы идем! — крикнул Гропани.

Публика хлынула к борту.

— Это секрет, секрет, — говорил Гропани. Он поднял палец и прищурил глаз.

— Матео! — крикнул Гропани вниз. — Скорей, скорей, бегом!

Третий механик быстро появился снизу. Он был маленький, черный. Совсем обезьянка. Он бежал легко, семенил ножками.

— Гой! — крикнул Гропани, и механик с разбегу прыгнул через испанца. Все захлопали в ладоши.

— Слушай, секрет можно сказать? — спросил Гропани. — Нам не влетит?

— Беру на себя, — сказал маленький механик и улыбнулся белыми зубами на темном лице. Все обступили моряков. Испанец вскочил с колен.

— Наш капитан, — начал тихим голосом механик, — через два дня именинник. Он всегда останавливает пароход. Все выходят на палубу и должны поздравлять старика. Часа три стоим все, поздравляем, все равно, даже в шторм. Вот он и велит гнать. А то опоздает в порт. Чудачина старичина! И катанье какое-то затевает, морской пикник, — совсем тихо прибавил механик. — Только, чур, молчок. — И он волосатой рукой прикрыл рот.

— Ох, интересно! — говорили дамы.

Буфетчик звонил к кофе.

Механик и Гропани отошли к борту.

— У нас в кочегарке, — быстрым шепотом сказал, механик, — переборка нагрелась — рука не терпит. Как уют. Понимаешь?

— А трюм нельзя открыть, — сказал Гропани. — Войдет воздух, и сразу все вспыхнет.

— Как думаешь, продержимся два дня? Как думаешь? — Механик глянул в самые глаза Гропани.

— Пожар, можем задохнуться в своем дыму, — сказал Гропани, — а, впрочем, черт его знает.

Они пошли на мостик.

Капитан их встретил.

— Идите сюда, — сказал капитан. Он потащил механика за руку. В каюте он показал ему маленькую рулетку, новенькую, блестящую.

— Вот шарик, — капитан поднес шарик к носу механика.

— Пусть крутят, бросают шарик, пусть играют на деньги. Говорите — это по секрету от капитана. Тогда они будут сидеть внизу. Мужчины хотя бы... Дамы ничего не заметят. Возьмите, не потеряйте шарик. — И капитан ткнул рулетку механику.

Третий механик вышел на палубу. Официанты играли на скрипках. Две пары уже танцевали.

12

Команда работала и разбирала эмигрантские нары. Под палубой было жарко и душно. Люди разделись, мокрые от пота.

— Ни минуты, ни секунды не терять, — говорил старик Салерно. Он помогал срывать толстые брусья.

— Потом покурите, потом! — пыхтел старик.

— Ну, чего стал? — крикнул Салерно молодому матросу.

— Вот оттого и стал! — во всю глотку крикнул молодой матрос.

Все на миг бросили работу. Все глядели на Салерно и матроса. Стало тихо. И стало слышно веселую музыку.

— Ты это что же? — сказал Салерно. Он с ключом в руке пошел на матроса.

— Там танцуют, — кричал матрос, — а мы тут кишки рвем! — Матрос подался вперед с топором в руке. — Давай их сюда! — кричал матрос.

— Верно, правильно говорит, — загудели матросы.

— Кому плоты? Нам шлюпок хватит.

— А плоты пусть сами себе делают.

Все присунулись к Салерно; кто с чем: с молотком, с топором и долотом. Все кричали:

— К черту! Довольно! Баста! Остановить пароход! К шлюпкам!

Один уже бросился к трапу.

— Стойте! — крикнул Салерно и поднял руку.

На миг затихли. Остановились.

— Братья матросы! — сказал с одышкой старик. — Ведь там пассажиры. Мы взяли их свезти... А мы их... выйдет.... выйдет... погубим. Они ведь ехать селя, а не тонуть...

— А мы тоже не гореть нанялись! — крикнул молодой матрос в лицо механику.

И молодой матрос растолкал всех, бросился к трапу.

13

Капитан слышал крик. Он спустился на нижнюю палубу. Шел к мосту и прислушивался.

«Бунт, — подумал капитан. — Они бьют Салерно. Пропало все. Уйму, а нет — взорву к черту пароход, пропадай все пропадом».

И капитан быстро зашагал к люку.

Вдруг навстречу матрос с топором. Он с разбега ткнулся в капитана. Капитан рванул его за ворот. Матрос не успел опомниться, капитан толкнул его в люк. По трапу на матроса напирал народ. Все стали и смотрели на капитана.

— Назад! — рявкнул капитан.

Люди попятились. Капитан спустился вниз.

— Чего смотреть! — крикнул кто-то.

Народ встрепенулся.

— Молчать! — сказал капитан. — Слушай, что я скажу.

Капитан стоял на трапе выше людей. Все на него глядели. Жарко дышали. Ждали.

— Не будет плотов — погибли пассажиры. Я за них держу ответ перед миром и совестью. Они нам доверились. Двести пять живых душ. Нас сорок восемь человек...

— А мы их свяжем, как овец! — крикнул матрос с топором. — Клянусь вам!

— Этого не будет! — крепко сказал капитан. — Ни один мерзавец не тронет их пальцем. Я взорву пароход.

Люди загудели.

— Убейте меня сейчас! — Капитан сунулся грудью вперед. — И суньтесь только на палубу — пароход взлетит на воздух. Все готово, без меня есть кому это сделать. Вы хотите погубить двести душ — и женщин и малых детей. Даю слово: погибнете вместе. Все до одного.

Люди молчали.

Кто опустил вниз злые глаза, а кто глядел на капитана и кивал головой. Капитан с минуту глядел на людей.

Молодой матрос вскинул голову, но капитан заговорил:

— Плоты почти готовы. Их осталось собрать и сделать мачты. На шесть часов работы. У нас ведь есть сутки. Двадцать четыре часа. Пассажиры в воде — это дети. Они узнают о несчастье — они погубят себя. Нам вручили их жизнь. Товарищи моряки! — громко крикнул капитан. — Лучше погибнуть честным человеком, чем жить прохвостом! Скажите только: «Мы их погубим», — капитан обвел всех глазами, — и я сейчас пушу себе пулю в лоб. Тут, на трапе.

И капитан сунул руку в карман.

Все загудели, глухо, будто застонали.

— Ну, так вот вы — честные люди, — сказал капитан. — Я знал это. Вы устали. Выпейте по бутылке красного вина. Я прикажу выдать. Кончайте скорее и спать. А наши дети, — капитан кивнул наверх, — пусть играют, вы их спасете, и будет навеки вам слава — морякам Италии. — И капитан улыбнулся.

Улыбнулся весело, и вмиг помолодело лицо.

— Браво! — крикнул молодой матрос.

Он глядел на капитана. Капитан быстрыми шагами взбегал по трапу.

— Гропани! — крикнул капитан на палубе. Штурман бежал навстречу.

— Идите вниз, — говорил капитан, — работайте с ними во всю мочь. И по бутылке вина всем. Сейчас. Там танцуют? Ладно. Я пришлю за вами, в случае станут скучать. Ну, живо!

— Есть! — крикнул Гропани и бегом бросился к люку.

Капитан прошел в свою каюту. Он сел на койку, сжал кулаки со всей силой и подпер бока. «Держаться, держаться, — говорил капитан, — что есть сил держаться. Сутки одни, одни только бы сутки». И несколько не легче становилось капитану. Он знал: не за сутки, а за один час, за минуту все может погибнуть. Крикни этот матрос с топором: «пожар» — и готово. «Дали им вина?» — подумал капитан и вскочил на ноги. Но тут влетел в каюту Салерно. Старик осунулся в эти два дня. Он схватил капитана за плечи, стал трясти. Тряс и все глядел в глаза, и лицо у старика кривилось и вдруг совсем сморщилось, и он заплакал, заревел в голос. Он с размаху сел на койку и уткнул лицо в подушку.

— Что ты? — Капитан первый раз заговорил с ним на «ты». — Что ты? Салерно...

Капитан повернулся, взялся за ручку двери. Старик восторженно.

— Минуту! — проговорил старик.

Он задышался, схватил графин и пил из горлышка. Обливался. Другой рукой он держал капитана.

— Ведь я умру подлецом, — говорил старик сквозь слезы. — Пожар не задохнется. В этих бочках, ты не знаешь, — в них бертолетова соль!

— Как? — спросил капитан. — Ведь ты сказал хлорноватая какая-то соль...

— Да, да. Это и есть бертолетова. Я не соврал. Но я знал, что ты не поймешь.

— Я спрашивал ведь тебя: не опасно? А ведь это взрыв.

— Нет, нет, — плакал старик, — не взрыв. Ее нагревает, она выпускает кислород, а от него горит. Сильней, сильней все горит. — Старик умоляюще глядел на капитана. — Ну, прости, прости хоть ты, господи! — Старик ломал руки. — Никто, никто не простит... — И Салерно искал глазами по каюте. — Мне дали триста лир, чтобы я устроил... дьявол дал... эти двадцать бочек. Что же теперь? Что же? — Салерно глотал воздух ртом. — Иисусе святой, милый, дорогой...

— Идите к аббату, приложите к его рясе. Нет? Тогда вот револьвер — стреляйтесь, — сказал капитан и брякнул на стол браунинг.

Старик водил выпученными глазами.

— Тоже не хотите? Тогда умрите на работе. Марш к команде!

— Капитан, — хрипло сказал Салерно, — на градуснике... вчера было не семьдесят восемь, а восемьдесят семь...

Капитан вскинул брови, вздрогнул.

— Я не мог сказать... — Старик рухнул с койки, стал на колени.

Капитан с размаху ударил старика по лицу, вышел и пристукнул за собой дверь.

Капитан взял веревку с градусником. Он сам смерил температуру — было 88 градусов.

Маленький механик подошел и сказал (он был в одной сетке, мокрый, от пота):

— На переборке краска закудрявилась, барашком пошла, но мы

поливаем... Полно пару... Люди задыхаются. Работаем мы со вторым механиком...

Капитан подошел к кочегарке. Глянул сверху, но сквозь пар не мог увидеть. Слышал только — лязгают лопаты, стучают скребки.

Маленький механик шагнул за трап и пропал в пару.

Солнце садилось. Красным отсветом горели буруны по бокам парохода. Черный дым густой змеей валил из трубы. Пароход летел что есть силы вперед.



Черный дым густой змеей валил из трубы. Пароход летел что есть силы вперед.

В трюме парохода горел смертельный огонь. Пассажиры приятно пели испанскую песню. Испанец махал рукой. Все на него смотрели, а он стоял

на табурете выше всех.

— Споемте молитву, — говорил испанец. — Его преподобию будет приятно.

Испанец дал тон.

Капитан быстро пошел вниз к матросам.

— Сейчас готово! — крикнул навстречу Гропани. Он, голый до пояса, долбил долотом. Старик Салерно, лохматый, мокрый, тесал. Он без памяти тесал, зло сажил топором.

— Баста! Довольно уж! — кричал ему судовой плотник.

Салерно, красный, мокрый, озирался вокруг.

— Еще по бутылке вина, — сказал капитан. — Выпить здесь и по койкам. Двое в кочегарку, помогите товарищам. Они в аду. Вахта по часу.

Все бросили инструменты. Один Салерно все стоял с топором. Он еще два раза ткнул по бревну. Все на него оглянулись.

Капитан вышел на палубу. На трюме в пазах стена пошла пузырями. Они надувались и лопались. Смола прилипла к ногам. Черные следы шли по палубе.

Солнце зашло.

Яркими огнями вспыхнул салон; оттуда мирно мурлыкал пассажирский говор.

Гропани догнал капитана.

— Я доложу, — весело говорил Гропани, — очень здорово, то есть замечательные плоты, говорю я, а Салерно...

— Видал все, — сказал капитан. — Готовьте провизию, воду, флаги, ракеты. Фальшфейера не забудьте. Сейчас же...

— А Салерно — чудака, ей-богу! — крикнул Гропани и побежал хлопотать.

Ночью капитан пошел мерить температуру. Он мерил каждый час. Температура медленно подходила к 89 градусам. Капитан осторожно прислушивался, не гудит ли в трюме. Он приложил ухо к трюмному люку. Было горячо, но капитан терпел. Было не до того. Слушал: нет, ничего — это урчит машина. Ее слышно по всему пароходу. Капитану начинало казаться: вот сейчас, через минуту, пароход не выдержит. Взорвется люк, полыхнет пламя — и конец: крики, вой, кровавая каша. Почем знать, потерпит ли пароход до утра? И капитан снова щупал палубу.

Попадал в жидкую горячую смолу в пазах. Снова мерил градусником уже каждые полчаса. Капитан нетерпеливыми шагами ходил по палубе. Глядел на часы. До рассвета было еще далеко. Внизу Гропани купорил в бочки сухари, консервы. Салерно возился тут же. Он слушал Гропани и со всех ног исполнял его приказы. Как мальчик, старик глядел на капитана, будто хотел сказать: «Ну, прикажи скорее, и я в воду брошусь».

Около полуночи капитану доложили — двоих вынесли из кочегарки в обмороке. Но машина все вертелась, и пароход летел напрямик к торной дороге.

Капитан не мог присесть ни на миг. Он ходил по всему пароходу. Он спустился в кочегарку. Там в горячем пару звякали дверцы топок. Пламя выло под котлами. Распаренные люди изо всех сил швыряли уголь. Не попадали и снова с ожесточением кидали. Ругались, как плакали.

Капитан схватил лопату и стал кидать. Он задышался в пару.

— Валяй, валяй, сейчас конец, — говорил капитан.

Гайки закрыли. Капитан вылез наверх. Ему показалось холодно на палубе. А это что? Какие-то фигуры в темноте возятся у шлюпки.

Капитан опустил руку в карман, нащупал браунинг. Подошел. Три матроса и кочегар вываливали шлюпку за борт.

— Я не приказывал готовить шлюпок, — тихим голосом сказал капитан.

Они молчали и продолжали дело.

— На таком ходу шлюпки не спустить, — сказал капитан чуть громче. — Погибнете сами и загубите шлюпку.

Капитан сдерживал сердце: нельзя подымать тревогу.

Матросы вывалили шлюпку за борт. Оставалось спустить.

Двое сели в шлюпку. Двое других готовились спускать.

— А, дьявол! — вскрикнул один в шлюпке. — Нет весел. Они запрятали весла и паруса. Все. Давай весла! — крикнул он в лицо капитану. — Давай!

— Не ори, — сказал тихо капитан, — выйдут люди, они убьют вас!

И капитан отошел в сторону. Он видел, как люди вылезли из шлюпки. До рассвета оставалось три часа. Капитан увидел еще фигуру: пригляделся — Салерно. Старик, полуголый, шел, шатаясь. Он шел прямо на капитана. Капитан стал.

— Салерно!

Старик подошел вплотную.

— Что мне теперь делать? Прикажите.

Салерно глядел сумасшедшими глазами.

— Оденьтесь, — сказал капитан, — причешитесь, умойтесь. Вы будете передавать детей на плоты.

Салерно с сердцем махнул кулаками в воздухе. Капитан зашагал на бак. По дороге он снова смерил: было почти 90 градусов.

Капитану захотелось подогнать солнце. Вывернуть его рычагом наверх. Еще 2 часа 45 минут до света. Он прошел в кубрик. Боцман не спал. Он сидел за столом и пил из кружки воду. Люди спали головой на столе, немногие в койках. Свесили руки, ноги, как покойники. Кто-то в углу копался в своем сундучке. Капитан поманил пальцем боцмана. Боцман вскочил. Тревожно глядел на капитана.

— Вот порядок на утро, — тихо сказал капитан. И он стал шептать над ухом боцмана.

— Есть... есть... — приговаривал боцман.

Капитан быстро взбежал по трапу. Ему не терпелось еще смерить. Градусник с веревкой был у него в руке. Капитан спустил его вниз и тотчас вытянул. Глядел, не мог найти ртути. Что за черт! Он взял рукой за низ и отдернул руку: пеньковая кисть обварила пальцы. Капитан почти бегом поднялся в каюту. При электричестве увидел: ртуть уперлась в самый верх. Градусник лопнул. У капитана захватило дух. Дрогнули колени первый раз за это время. И вдруг нос почувствовал запах гари. От волнения капитан не рас- чуял. Откуда? Озирался вокруг. Вдруг он увидел дымок. Легкий дымок шел из рук. И тут капитан увидел: тлеет местами веревка. И сразу понял: труба раскалилась докрасна в трюме. Пожар дошел до нее.

Капитан приказал боцману поливать палубу. Пустить воду. Пусть все время идет из шланга. Тут под трюмом пар шел от палубы. Капитан зашел в каюту Салерно. Старик переодевал рубаху. Вынырнул из ворота, увидел капитана. Замер.

— Дайте химию, — сказал капитан сквозь зубы. — У вас есть химия.

Салерно схватил с полки книгу — одну, другую.

— Химии... химии... — бормотал старик.

Капитан взял книгу и вышел вон.

«Может ли взорвать?» — беспокойно думал капитан. У себя в каюте он листал книгу.

«Взрывает при ударе, — прочел капитан про бертолетову соль, — и при внезапном нагревании».

— А вдруг там попадет так... что внезапно... А, черт!

Капитан заерзал на стуле. Глянул на часы: до рассвета оставалось двадцать семь минут.

Остановить пароход в темноте — все пассажиры проснутся, и в темноте будут каша и бой. А в какую минуту взорвется? В какую из двадцати семи? Или соль выпускает кислород? Просто кислород, как в школе на уроке химии?

Капитан дернулся смерить, вспомнил и топнул с сердцем в палубу.

Теперь капитан как закаменел: шел твердо, крепким шагом. Как живая статуя. Он прошел в кубрик.

— Буди! — сказал капитан боцману. — Двоих на лебедки! Плоты на палубу! Собрать!

Люди просыпались, серые и бледные. Всеми глазами глядели на капитана. Капитан вышел. С бака на него глядели бортовые огни: красный и зеленый. Яркие, напряженные. Капитан уже слышал сзади возню, гроханье брусьев. Тарахтела лебедка. Вспыхнула грузовая люстра.

— Гропани, к пассажирам! — сказал капитан на ходу. Он слышал голос Салерно.

— Салерно, ко мне! — крикнул капитан. — Вы распоряжайтесь спуском плотов. И ни одной ошибки!

Второй штурман с матросами вываливал шлюпки за борт. Одиннадцать шлюпок. Капитан глянул на часы. Оставалось семнадцать минут. Но восток глухо чернел справа.

— Всех наверх, — сказал капитан маленькому механику. — Одного человека оставить в машине.

Пароход неся, казалось, еще быстрее: напоследки очертя голову.

Капитан вышел на мостик.

— Определитесь по звездам, — сказал он старшему штурману, — надо точно знать наше место в океане.

Легкий ветер дул с востока. По океану ходила широкая плавная волна. Капитан стоял на мостике и смотрел на сборку плотов. Салерно точно, без окриков, руководил, и руки людей работали дружно в лад. Капитан шагнул вправо. Ветром дунул свет из-за моря.

— Стоп машина! — приказал капитан.

И сейчас же умер звук внутри. Пароход будто ослаб. Он с разгона еще неся вперед. Люди на миг бросили работу. Все глянули наверх, на капитана. Капитан серьезно кивнул головой. И люди вцепились в работу.

Аббат проснулся.

— Мы, кажется, стоим, — сказал он испанцу и зажег электричество.

Испанец быстро стал одеваться. Поднимались и в других каютах.

— Ах, да! Именины! — кричал испанец. Он высунулся в коридор и крикнул веселым голосом:

— Дамы и кавалеры! Пожалуйста! Прошу! Все в белом! Непременно!

Все собрались в салоне. Гропани был уже там.

— Но почему же так рано? — говорили нарядные пассажиры.

— Надо приготовить пикник, — громко говорил Гропани, — а потом — шепотом: — возьмите с собой ценности. Знаете, все выйдут, прислуга ненадежна.

Пассажиры пошли рыться в чемоданах.

— Я боюсь, — говорила молодая дама, — в лодках по волнам...

— Со мной, сударыня, уверяю, не страшно и в аду, — сказал испанец. Он приложил руку к сердцу. — Идемте. Кажется, готово!

Гропани отпер двери.

Пароход стоял.

Пять плотов гибко качались на волнах. Они были с мачтами. На мачтах флаги перетянуты узлом.

Команда стояла в два ряда.

Между людьми — проход к трапу.

Пассажиры спустились на нижнюю палубу.

Капитан строго глядел на пассажиров.

Испанец вышел вперед под руку с дамой. Он улыбался, кланялся капитану.

— От лица пассажиров... — начал испанец и шикарно поклонился.

— Я объявляю, — перебил капитан крепким голосом: — мы должны покинуть пароход. Первыми сойдут женщины и дети. Мужчины, не трогаться с места. Под страхом смерти.

Как будто стон дохнул над людьми. Все стояли оцепенелые.

— Женщины, вперед! — скомандовал капитан. — Кто с детьми?

Даму с девочкой подталкивал вперед Гропани. Вдруг испанец оттолкнул свою даму. Он растолкал народ. Вскочил на борт. Он приготовился прыгнуть на плот. Хлопнул выстрел. Испанец рухнул за борт. Капитан оставил револьвер в руке.

Бледные люди проходили между матросами. Салерно размещал пассажиров по плотам и шлюпкам.

— Все? — спросил капитан.

— Да. Двести три человека! — крикнул снизу Салерно.

Команда молча, по одному, сходила вниз.

Плоты отвалили от парохода, легкий ветер относил их в сторону. Женщины жались к мачте. Крепко прижимали к себе детей. Десять шлюпок держались рядом. Одна под парусами и веслами пошла вперед. Капитан сказал Гропани:

— Дайте знать встречному пароходу. Ночью пускайте ракеты!

Все смотрели на пароход. Он стоял один среди моря. Из трубы шел легкий дым. Прошло два часа. Солнце уже высоко поднялось.

Уже скрылась из глаз шлюпка Гропани. А пароход стоял один. Он уже не дышал. Мертвый, брошенный, он покачивался на зыби.

«Что же это?» — думал капитан.

— Зачем же мы уехали? — крикнул ребенок и заплакал.

Капитан со шлюпки оглядывался то на ребенка, то на пароход.

— Бедный, бедный, — шептал капитан. И сам не знал, про ребенка или про пароход.

И вдруг над пароходом взлетело белое облако, и вслед за ним рвануло вверх пламя.

Гомон, гул пошел над людьми. Многие встали в рост, глядели, затаили дыхание.

Капитан отвернулся. Закрыв глаза рукой. Ему было больно: горит живой пароход. Но он снова взглянул сквозь слезы. Он крепко сжал кулаки и глядел, не отрывался.

Вечером виден был красный остров. Он рдел вдали. Потом потухло. Капитан долго еще глядел, но ничего уже не было видно.

Три дня болтались на плоту пассажиры.

На третьи сутки к вечеру пришел пароход. Гропани встретил на борту капитана.

Люди перешли на пароход. Не досчитались старика Салерно. Когда он пропал — кто его знает.

ЧЕРНЫЕ ПАРУСА

1. Ладьи

Обмотали весла тряпьем, чтобы не стукнуло, не брякнуло дерево. И водой сверху полили, чтоб не скрипнуло.

Ночь темная, густая, хоть палку воткни.

Подгребаются казаки к турецкому берегу, и вода не плеснет: весло из воды вынимают осторожно, что ребенка из люльки.

А лодки большие, развалистые. Носы острые, вверх тянутся. В каждой лодке по двадцать пять человек, и еще для двадцати места хватит.

Старый Пилип на передней лодке. Он и ведет.

Стал уж берег виден: стоит он черной стеной на черном небе. Гребанут, гребанут казаки и станут — слушают.

Хорошо тянет с берега ночной ветерок. Все слышать. Вот и последняя собака на берегу брехать перестала. Тихо. Только слышно, как море шуршит песком под берегом, чуть дышит Черное море.

Вот веслом дно достали. Вылезли двое и пошли вброд на берег, в разведку. Большой, богатый аул тут, на берегу, у турок стоит.

А ладьи уж все тут. Стоят, слушают — не забаламутили б хлопцы собак. Да не таковские!

Вот чуть заалело над берегом, и обрыв над головой стал виден. С зубцами, с водомоинами.

И гомон поднялся в ауле.

А свет ярче, ярче, и багровый дым за клубился, завился над турецкой деревней: с обоих краев подпалили казаки аул. Псы забрехали, кони заржали, завыл народ голосами.

Рванули ладьи в берег. По два человека оставили казаки в лодке и полезли по обрыву на кручу. Вот она, кукуруза, — стеной стоит под самым аулом.

Лежат казаки в кукурузе и смотрят, как турки все свое добро на улицу тащат: и сундуки, и ковры, и посуду, — все на пожаре, как днем, видать. Высматривают, чья хата побогаче.

Мечутся турки, ревут бабы, таскают из колодца воду, коней выводят из стойл. Кони бьются, срываются, носятся меж людей, топчут добро и уносятся в степь.

Пожитков грудя на земле навалена.

Как гикнет Пилип! Вскочили казаки, бросились к турецкому добру и ну хватать, что кому под силу.

Обалдели турки, кричат по-своему.

А казак хватил и — в кукурузу, в темь, и сгинул в ночи, как в воду нырнул.

Уж набили хлопцы лодки и кобрами, и кувшинами серебряными, и вышивками турецкими, да вот вздумал вдруг Грицко турчанку с собой подхватить — так, для смеху.

А она как даст голосу, да такого, что сразу турки в память пришли. Хватились ятаганы откапывать в пожитках из-под узлов и бросились за Грицком.

Грицко и турчанку кинул, бегом ломит через кукурузу, камнем вниз с обрыва бежит к ладьям.

А турки за ним с берега сыплются, как картошка. В воду лезут на казаков: от пожара, от крика как очумели, вплавь бросились.

Тут уж с обрыва из мушкетов палить принялись и пожар-то свой бросили. Отбиваются казаки. Да не палить же из мушкетов в берег — еще темней стало под обрывом, как задышало зарево над деревней. Своих бы не перебить. Бьются саблями и отступают вброд к ладьям.

И вот, кто не успел в ладью вскочить, порубили тех турки. Одного только в плен взяли — Грицка.

А казаки налегли, что силы, на весла и — в море, подальше от турецких пуль. Гребли, пока пожар чуть виден стал: красным глазком мигает с берега. Тогда подались на север, скорей, чтоб не настигла погоня.

По два гребца сидело на каждой скамье, а скамей было по семи на каждой ладье: в четырнадцать весел ударяли казаки, а пятнадцатым веслом сам кормчий. Это было триста лет тому назад. Так ходили на ладьях казаки к турецким берегам.

2. Фелюга

Пришел в себя Грицко. Все тело избито. Саднит, ломит. Кругом темно. Только огненными линейками светит день в щели сарая. Пощупал кругом: солома, навоз.

«Где это я?»

И вдруг все вспомнил. Вспомнил, и дух захватило. Лучше б убили. А теперь шуру с живого сдерут. Или на кол посадят турки. Для того и

живого оставили. Так и решил. И затошнило от тоски и от страха.

«Может, я не один тут — все веселей будет».

И спросил он вслух:

— Есть кто живой?

Нет, один.

Брякнули замком, и вошли люди. Ударило светом в двери. Грицко и свету не рад. Вот она, смерть, пришла. И встать не может.

Заслабили ноги, обмяк весь. А турки теребят, ногами пинают — вставай!

Подняли.

Руки закрутили назад, вытолкали в двери. Народ стоит на улице, смотрит, лопочут что-то. Старик, бородатый, в чалме, нагнулся, камень поднял. Махнул со всей злостью и попал в провожатых.

А Грицко и по сторонам не глядит, все вперед смотрит — где кол стоит? И страшно, и не глядеть не может: из-за каждого поворота кола ждет. А ноги, как не свои, как приделанные.

Мечеть прошли, а кола все нет. Из деревни вышли и пошли дорогой к морю.

«Значит, топить будут, — решил казак. — Все муки меньше».

У берега стояла фелюга — большая лодка, острая с двух концов. Нос и корма были лихо задраны вверх, как рога у турецкого месяца.

Грицко бросили на дно. Полуголые гребцы взялись за весла.

3. Карамусал

«Так и есть, топить везут», — решил казак.

Грицко видал со дна только синее небо да голую потную спину гребца.

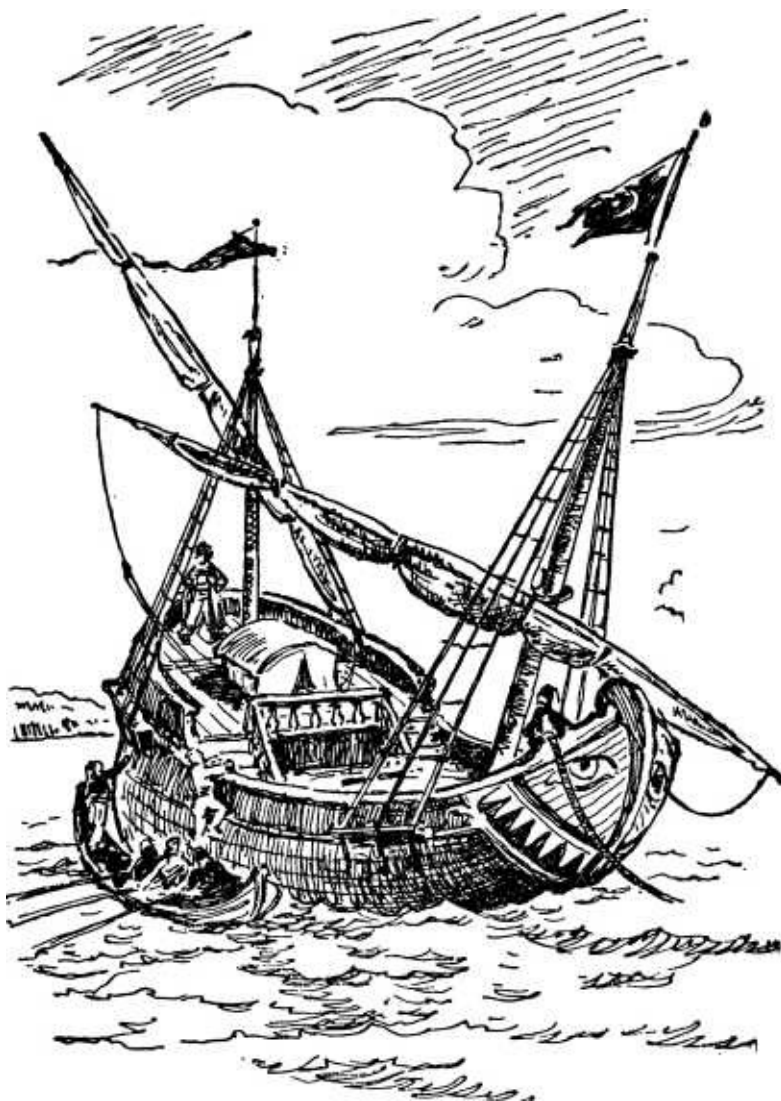
Стали вдруг легче грести. Гриц запрокинул голову: видит нос корабля над самой фелюгой. Толстый форштевень изогнуто подымался из воды. По сторонам его написаны краской два глаза, и, как надутые щеки, выпячиваются круглые скулы турецкого карамусала. Как будто от злости надулся корабль.

Только успел Грицко подумать, уж не повесить ли его сюда привезли, как все было готово. Фелюга стояла у высокого крутого борта, и по веревочному трапу с деревянными ступеньками турки стали перебираться на корабль. Грицка веревкой захлестнули за шею и потащили на борт. Едва не задушили.

На палубе Гриц увидел, что корабль большой, шагов с полсотни

длинной. Две мачты, и на спущенных над палубой рейках туго скручены убранные паруса. Фок-мачта смотрела вперед. От мачт шли к борту веревки — ванты. Тугие — ими держалась мачта, когда ветер напирал в парус.

У бортов стояли бочки.



Турецкий карамусал.

На корме была нагромождена целая кибитка. Большая обтянутая плотной материей. Вход в нее с палубы был завешан коврами.

Стража с кинжалами и ятаганами у пояса стояла при входе в эту кормовую беседку.

Оттуда не спеша выступал важный турок — в огромной чалме, с широчайшим шелковым поясом: из-за пояса торчали две рукоятки кинжалов с золотой насечкой, с самоцветными камнями.

Все на палубе затихли и смотрели, как выступал турок.

— Капудан, капудан, — зашептали около Грицка.

Турки расступились. Капудан (капитан) глянул в глаза Грицку, так глянул, как ломом ткнул. Целую минуту молчал и все глядел. Затем откусил какое-то слово и округло повернул к своей ковровой палатке на корме.

Стража схватила Грицка и повела на нос.

Пришел кузнец, и Грицко мигнуть не успел, как на руках и ногах заговорили, забренчали цепи.

Открыли люк и спихнули пленника в трюм. Грохнулся Грицко в черную дырку, ударился вниз о бревна, о свои цепи. Люк неплотно закрывался, и сквозь щели проникал светлыми полосками солнечный свет.

«Теперь уж не убьют, — подумал казак: — убили, бы, так сразу, там, на берегу».

И цепям и темному трюму обрадовался.

Грицко стал лазать по трюму и рассматривать, где ж это он. Скоро привык к полутьме.

Все судно внутри было из ребер^[6], из толстых, вершка по четыре. Ребра были не целые, стычные, и густо посажены. А за ребрами шли уже доски. Между досками, в щелях, смола. По низу в длину, поверх ребер, шло посредине бревно^[7]. Толстое, обтесанное. На него-то и грохнулся Гриц, как его с палубы спихнули.

— А-таки здоровая хребтина! — И Грицко похлопал по бревну ладошкой.

Грицко грохотал своими кандалами. А сверху в щелочку смотрел пожилой турок в зеленом тюрбане. Смотрел, кто это так здорово ворочается. И заметил казака.

— Якши урус^[8], — пробормотал он про себя. — За него можно деньги взять. Надо подкормить.

4. Порт

В Царьграде на базаре стоял Грицко и рядом с ним невольник-болгарин.



В Царьграде на базаре стоял Грицко и рядом с ним невольник-болгарин.

Турок в зеленой чалме выменял казака капудана на серебряный наргиле^[9] и теперь продавал на базаре.

Базар был всем базарам базар. Казалось, целый город сумасшедших собрался голоса пробовать. Люди старались перекрычать ослов, а ослы — друг друга. Грузенные верблюды с огромными вьюками ковров на боках, покачиваясь, важно ступали среди толпы, а впереди сириец орал и расчищал каравану дорогу: богатые ковры везли из Сирии на царьградский рынок.

Губастого ободранного вора толкала стража, и густой толпой провожали их мальчишки, бритые, гологоловые.

Зелеными клумбами подымались над толпой арбы с зеленью.

Завешанные черными чадрами турецкие хозяйки пронзительными голосами ругали купцов-огородников.

Над кучей сладких, пахучих дынь вились роем мухи. Загорелые люди перекидывали из руки в руку золотистые дыни, заманивали покупателя дешевой ценой.

Грек бил ложкой в кастрюлю — звал в свою харчевню.

С Грицком продавал турок пять мальчиков-арапчат. Он велел им орать свою цену и, если они плохо старались, поддавал жару плеткой. Рядом араб продавал верблюдов.

Покупатели толклись, приливали, отливали и рекой с водоворотом текли мимо.

Кого только не было! Ходили и арабы: легко, как на пружинках, подымались на каждом шагу.

Валили толстым пузом вперед турецкие купцы с полдюжиной черных слуг. Проходили генуэзцы в красивых кафтанах, в талью; они были франты и все смеялись, болтали, как будто пришли на веселый маскарад. У каждого на боку шпага с затейливой ручкой, золотые пряжки на сапогах.

Среди толчеи вертелись разносчики холодной воды с козьим бурдюком за спиной.

Шум был такой, что, грянь гром с неба, никто б не услышал. И вот вдруг этот гам удвоился — все кругом завопили, как будто их бросили на уголья.

Хозяин Грицка схватился нахлестывать своих арапчат. Казак стал смотреть, что случилось. Базар расступался: кто-то важный шел — видать, главный тут купец.

Двигался венецианский капитан, в кафтане с золотом и кружевом. Не шел, а выступал павлином. А с ним целая свита расшитой, пестрой молодежи.

Болгарин стал креститься, чтоб видали: вот христианская душа мучится. Авось купят, крещеные ведь люди. А Гриц пялил глаза на шитые кафтаны.

И вот шитые кафтаны стали перед товаром: перед Грицком, арапчатами и набожным болгаринном. Уперлись руками в бока, и расшитый золотом капитан затрясся от смеха. За ним вся свита принялась усердно хохотать. Гнулись, переваливались. Им смешно было глядеть, как арапчата, задрав головы к небу, в один голос выли свою цену.

Капитан обернулся к хозяину с важной миной. Золоченые спутники нахмурились, как по команде, и сделали строгие лица.

Болгарин так закрестился, что руки не стало видно.

Народ сбежался, обступил венецианцев, всякий совался, тискался: кто подмигивал хозяину, кто старался переманить к себе богатых купцов.

5. Неф

Вечером турок отвел Грицка с болгаринном на берег и перевез на фелюге на венецианский корабль.

Болгарин всю дорогу твердил на разные лады Грицку, что их выкупили христиане. От бусурман выкупили, освободили.

А Гриц сказал:

— Що мы им сватя чи братья, що вони нас выкуплять будут? Дурно паны грошей не дадут!

Корабль был не то, что турецкий карамусал, на котором привезли Грицка в Царьград. Как гордая птица, лежал на воде корабль, высоко задрав многоярусную корму. Он так легко касался воды своим круто изогнутым корпусом, как будто только спустился отдохнуть и понежиться в теплой воде. Казалось, вот сейчас распустит паруса-крылья и вспорхнет. Гибкими змеями вилось в воде его отражение. И над красной вечерней водой тяжело и важно реял за кормой парчовый флаг. На нем был крест и в золотом и ярком венчике икона.



Венецианский корабль.

Корабль стоял на чистом месте, поодаль от кучи турецких карамусалов, как будто боялся запачкаться.

Квадратные окна были вырезаны в боку судна — семь окон в ряд по всей длине корабля. Их дверцы были приветливо подняты вверх, а в глубине этих окон (портов), как злые зрачки, поблескивали дула бронзовых пушек.

Две высокие мачты, одна на носу^[10] другая посредине^[11], натуго были укреплены веревками. На этих мачтах было по две перекладыны — реи. Они висели на топенантах, и, как вожжи, шли от их концов (ноков) брасы. На третьей мачте, что торчала в самой корме^[12], был только флаг. С него глаз не спускал болгарин.

Грицко залюбовался кораблем. Он не мог подумать, что вся эта

паутина веревок — снасти, необходимые снасти, без которых нельзя править кораблем, как конем без узды. Казак думал, что все напутано для форсу; надо было б еще позолотить.

А с самой вышки кормы глядел с борта капитан — сеньор Перучьо. Он велел турку привезти невольников до заката солнца и теперь гневался, что тот запаздывает. Как смел? Два гребца навалились что есть силы на весла, но ленивая фелюга плохо поддавалась на ход против течения Босфора.

Толпа народа стояла у борта, когда, наконец, потные гребцы ухватили веревку (фалень) и подтянулись к судну.

«Ну, — подумал Гриц, — опять за шею...»

Но с корабля спустили трап, простой веревочный трап, невольникам развязали руки, и хозяин показал: полезайте!

Какие красивые, какие нарядные люди обступили Грицка! Он видал поляков, но куда там!

Середина палубы, где стоял Грицко, была самым низким местом. На носу крутой стеной начиналась надстройка^[13].

На корме надстройка еще выше и поднималась ступенями в три этажа. Туда вели двери великолепной резной работы. Да и все кругом было прилажено, пригнано и форсисто разделано. Обрубком ничто не кончалось: всюду или завиток, или замысловатый крендель, и весь корабль выглядел таким же франтом, как те венецианцы, что толпились вокруг невольников. Невольников поворачивали, толкали, то смеялись, то спрашивали непонятное, а потом все хором принимались хохотать. Но вот сквозь толпу протиснулся бритый мужчина. Одет был просто. Взгляд прямой и жестокий. За поясом — короткая плетка. Он деловито взял за ворот Грицка, повернул его, поддал коленом и толкнул вперед. Болгарин сам бросился следом.

Опять каморка где-то внизу, по соседству с водой, темнота и тот самый запах: крепкий запах, уверенный.

Запах корабля, запах смолы, мокрого дерева и трюмной воды. К этому примешивался пряный запах корицы, душистого перца и еще каких-то ароматов, которыми дышал корабельный груз. Дорогой, лакомый груз, за которым венецианцы бежали через море к азиатским берегам. Товар шел из Индии.

Грицко нанюхался этих крепких ароматов и заснул с горя на сырых досках. Проснулся от того, что кто-то по нему бежал.

Крысы!

Темно, узко, как в коробке, а невидимые крысы скачут, шмыгают. Их неведомо сколько. Болгарин в углу что-то шепчет со страху.

— Дави их! Боишься паньскую крысу обидеть? — кричит Грицко и ну шлепать кулаком, где только услышит шорох. Но длинные, юркие корабельные крысы ловко прыгали и шныряли. Болгарин бил впотьмах кулаками по Грицку, а Грицко по болгарину.

Грицко хохотал, а болгарин чуть не плакал.

Но тут в дверь стукнули, визгнула задвижка, и в каморку влился мутный полусвет раннего утра. Вчерашний человек с плеткой что-то кричал в дверях, хрипло, въедливо.

— Ходимо! — сказал Грицко и вышел.

6. Ванты

На палубе были уже другие люди — не вчерашние. Они были бедно одеты, выбриты, с мрачными лицами.

Под носовой надстройкой в палубе была сделана круглая дыра. Из нее шла труба. Она раскрывалась в носу снаружи. Это был клюз. В него проходил канат с корабля к якорю. Человек сорок народа тянуло этот канат. Он был в две руки толщиной; он выходил из воды мокрый, и люди с трудом его удерживали. Человек с плеткой, подкомит, пригнал еще два десятка народа. Толкнул туда и Грицка. Казак тянул, жилился. Ему стало веселей: все же с народом!

Подкомит подхлестывал, когда ему казалось, что дело идет плохо. Толстый мокрый канат ленивой змеей не спеша выползал из клюза, как из норы. Наконец, стал. Подкомит ругался, щелкал плетью. Люди скользили по намокшей уже палубе, но канат не шел дальше.

А наверху, на баке, топали, и слышно было, как кричали по-командному непонятные слова.

По веревочным ступенькам — выбленкам — уже лезли на мачты люди.

Толстые веревки — ванты — шли от середины мачты к бортам. Между ними-то и были натянуты выбленки. Люди босыми ногами ударяли на ходу по этим выбленкам, и они входили в голую подошву, казалось, рвали ее пополам. Но подошвы у матросов были так намозолены, что они не чувствовали выбленок.

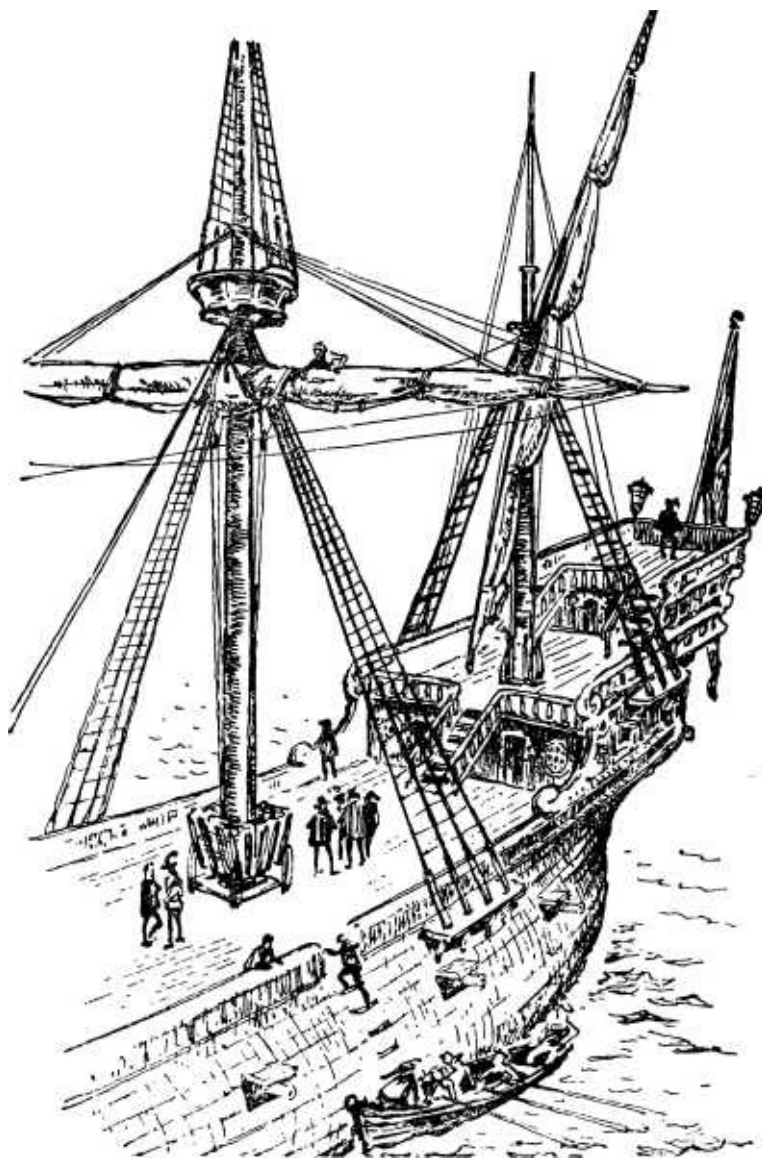
Матросы не ходили, а бежали по вантам легко, как обезьяны по сучьям. Одни добежали до нижней реи и перелезали на нее, другие пролезали на площадку, что была посредине мачты (марс), а от нее лезли по другим вантам (стенъвантам) выше и перелезали на верхнюю рею. Они, как жучки, расползались по реям.

На марсе стоял их начальник — марсовый старшина — и командовал.

На носу тоже шла работа. Острым клювом торчал вперед тонкий бушприт, перекрещенный блиндареем. И там, над водой, уцепившись за снасти, работали люди. Они готовили передний парус — блинд.

С северо-востока дул свежий ветер, крепкий и упорный. Без порывов, ровный, как доска.

Парчового флага уже не было на кормовой мачте — бизани. Там трепался теперь на ветру флаг попроще. Как будто этим утренним ветром сдуло весь вчерашний багряный праздник. В сером предрассветье все казалось деловым, строгим, и резкие окрики старшин, как удары плетки, резали воздух.



7. Левым галсом

А вокруг на рейде еще не просыпались турецкие чумазые карамусалы, сонно покачивались испанские каравеллы. Только на длинных английских галлеях шевелились люди: они мыли палубу, черпали ведрами на веревках воду из-за борта, а на носу стояли люди и глядели, как снимется с якоря венецианец, — не всегда это гладко выходит.

Но вот на корме венецианского корабля появился капитан. Что же якорь? Якорь не могли подорвать люди. Капитан поморщился и приказал перерубить канат. Не первый якорь оставлял корабль на долгой стоянке. Еще три оставалось в запасе. Капитан вполголоса передал команду помощнику, и тот крикнул, чтобы ставили блинд.

Вмиг взвился под бушпритом белый парус. Ветер ударил в него, туго надул, и нос корабля стало клонить по ветру. Но ветер давил и высокую многоярусную корму, которая сама была хорошим деревянным парусом; это мешало судну повернуться.

Опять команда — и на передней (фок) мачте между реями растянулись паруса. Они были подвязаны к реям, и матросы только ждали команды марсового, чтобы отпустить снасти (бык гордения), которые подтягивали их к реям.

Теперь корабль уж совсем повернул по ветру и плавно двинулся в ход по Босфору на юг. Течение его подгоняло.

А на берегу стояла толпа турок и греков: все хотели видеть, как вспорхнет эта гордая птица.

Толстый турок в зеленой чалме ласково поглаживал широкий пояс на животе: там были венецианские дукаты.

Солнце вспыхнуло из-за азиатского берега и кровавым светом брызнуло в венецианские паруса. Теперь они были на всех трех мачтах. Корабль слегка прилег на правый борт, и казалось, что светом дунуло солнце и поддало ходу. А вода расступалась, и в обе стороны от носа уходила углом живая волна. Ветер дул слева — левым галсом шел корабль.

Матросы убирали снасти. Они свертывали веревки в круглые бухты (мотки), укладывали и вешали по местам. А начальник команды, аргузин, неожиданно появлялся за плечами каждого. Каждый матрос, даже не глядя, спиной чувствовал, где аргузин. У аргузина будто сто глаз — всех сразу видит.

На высоком юте важно прохаживался капитан со своей свитой. За ними по пятам ходил комит. Он следил за каждым движением капитана:

важный капитан давал иной раз приказ просто движением руки. Комиту надо было поймать этот жест, понять и мгновенно передать с юта на палубу.

А там уж было кому поддать пару этой машине, что шевелилась около снастей.

8. На фордевинд

К полудню корабль вышел из Дарданелл в синюю воду Средиземного моря.

Грицко смотрел с борта в воду, и ему казалось, что прозрачная синяя краска распущена в воде: окуни руку и вынешь синюю.

Ветер засвежел, корабль повернул правей. Капитан глянул на паруса, повел рукой. Комит свистнул, и матросы бросились, как сорвались, тянуть брасы, чтобы за концы повернуть реи по ветру. Грицко глазел, но аргужин огрел его по спине плеткой и толкнул в кучку людей, которые тужились, выбирая брас.

Теперь паруса стояли прямо поперек корабля. Чуть зарывшись носом, корабль шел за зыбью. Она его нагоняла, подымала корму и медленно прокатывала под килем.

Команде давали обед. Но Грицку с болгаринем сунули по сухарю. Болгарина укачало, и он не ел.

Тонкий свисток комита с кормы всполошил всех. Команда бросила обед, все выскочили на палубу. С кормы комит что-то кричал, его помощники — подкомиты — кубарем скатились вниз на палубу.

На юте стояла вся свита капитана и с борта глядела вдаль. На Грицка никто не обращал внимания.

У люка матросы вытаскивали черную парусину, свернутую тяжелыми, толстыми змеями. Аргужин кричал и подхлестывал отсталых. А вверх по вантам неслись матросы, лезли на реи. Паруса убирали, и люди, налегши грудью на реи, перегнувшись пополам, сложившись вдвое, изо всей силы на ветру сгребали парус к рее. Нижние (штоковые) концы болтались в воздухе, как языки, — тревожно, яростно, а сверху спускали веревки и быстро к ним привязывали эти черные полотна.

Грицко, разинув рот, смотрел на эту возню. Марсовые что-то кричали внизу, а комит носился по всему кораблю, подбегал к капитану и снова камнем летел на палубу. Скоро вместо белых, как облако, парусов появились черные. Они туго надулись между реями.

Ветра снова не стало слышно, и корабль понесся дальше.

Но тревога на корабле не прошла. Тревога напряглась, насторожилась. На палубе появились люди, которых раньше не видал казак: они были в железных шлемах, на локтях, на коленях торчали острые железные чашки. На солнце горели начищенные до сияния наплечники, нагрудники. Самострелы, арбалеты, мушкеты^[14], мечи на боку. Лица у них были серьезны, и смотрели они в ту же сторону, куда и капитан с высокого юта.

А ветер все крепчал, он гнал вперед зыбь и весело отрывал мимоходом с валов белые гребешки пены и швырял в корму кораблю.

9. Красные паруса

Грицко высунул голову из-за борта и стал глядеть туда, куда смотрели все люди на корабле. Он увидел далеко за кормой, слева, среди зыби, рдеющие красные паруса. Они то горели на солнце, как языки пламени, то проваливались в зыбь и исчезали. Они вспыхивали за кормой и, видно, пугали венецианцев.

Грицку казалось, что корабль с красными парусами меньше венецианского.

Но Грицко не знал, что с марса, с мачты, видели не один, а три корабля, что это были пираты, которые гнались на узких, как змеи, судах, гнались под парусами и помогали ветру веслами.

Красными парусами они требовали боя и пугали венецианцев.

А венецианский корабль поставил черные, «волчьи» паруса, чтоб его не так было видно, чтобы стать совсем невидимым, как только сядет солнце. Свежий ветер легко гнал корабль, и пираты не приближались, но они шли сзади, как привязанные.

Судовому священнику, капеллану, приказали молить у бога ветра покрепче, и он стал на колени перед раскрашенной статуей Антония, кланялся и складывал руки.

А за кормой все вспыхивали из воды огненные паруса.

Капитан смотрел на солнце и думал, скоро ли оно зайдет там впереди, на западе.

Но ветер держался ровный, и венецианцы надеялись, что ночь укроет их от пиратов. Казалось, что пираты устали грести и стали отставать. Ночью можно свернуть, переменить курс, а по воде следа нет. Пусть тогда ищут.

Но когда солнце сползало с неба и оставалось только часа два до

полной тьмы, ветер устал дуть. Он стал срываться и ослабевать. Зыбь ленивее стала катиться мимо судна, как будто море и ветер шабашили под вечер.

Люди стали свистеть, обернувшись к корме: они верили, что этим вызовут ветер сзади. Капитан посылал спрашивать капеллана: что же Антоний?

10. Штиль

Но ветер спал вовсе. Он сразу прилег, и все чувствовали, что никакая сила его не подымет: он выдулся весь и теперь не дыхнет. Глянцевитая масляная зыбь жирно катилась по морю, спокойная, чванная. И огненные языки за кормой стали приближаться. Они медленно догоняли корабль. Но с марса кричали сторожевые, что их уже оказалось четыре, а не три. Четыре пиратских судна!

Капитан велел подать себе хлеба. Он взял целый хлеб, посолил его и бросил с борта в море. Команда глухо гудела: все понимали, что настал мертвый штиль. Если и задышит ветерок, то не раньше полуночи.

Люди столпились около капеллана и уже громко ворчали: они требовали, чтоб монах им дал Антония на расправу. Довольно валяться в ногах, коли тебя все равно не хотят слушать! Они прошли в каюту- часовню под ютом, сорвали статую с ее подножья и всей гурьбой потащили к мачте.

Капитан видел это и молчал. Он решил, что грех будет не его, а толк все же может выйти. Может быть, Антоний у матросов в руках заговорит по-иному. И капитан делал вид, что не замечает. Грешным делом, он уже бросил два золотых дуката в море. А матросы прикрутили Антония к мачте и шепотом ругали его на разных языках. Штиль стоял на море спокойный и крепкий, как сон после работы.

А пираты подравнивали линию своих судов, чтобы разом атаковать корабль. Поджидали отсталых.

На второй палубе пушкарки стояли у медных орудий. Все было готово к бою.

Приготовили глиняные горшки с сухой известью, чтоб бросать ее в лицо врагам, когда они полезут на корабль. Развели в бочке мыло, чтоб его лить на неприятельскую палубу, когда корабли сцепятся борт о борт: пусть на скользкой палубе падают пираты и скользят в мыльной воде.

Все воины — их было девяносто человек — готовились к бою; они были молчаливы и сосредоточенны. Но матросы гудели: они не хотели боя,

они хотели уйти на своем легком корабле. Им обидно было, что нет ветра, и они решили туже стянуть веревки на Антонии: чтоб знал! Один пригрозил палкой, но ударить не решился.

А черные, «волчьи», паруса обвисли на реях. Они хлопали по мачтам, когда судно качало, как траурный балдахин.

Капитан сидел в своей каюте. Он велел подать себе вина. Пил, не хмелел. Бил по столу кулаком — нет ветра. Поминутно выходил на палубу, чтоб взглянуть, не идет ли ветер, не почернело ли от ряби море.

Теперь он боялся попутного ветра: если он начнется, то раньше захватит пиратов и принесет их к кораблю, когда он только что успеет взять ход. А может быть, и уйти успеет?

Капитан решил: пусть будет какой-нибудь ветер, и пообещал в душе отдать сына в монахи, если хоть через час подует ветер.

А на палубе матрос кричал:

— В воду его, чего смотреть, ждать некогда!

Грицку смешно было смотреть, как люди серьезно обсуждали: головой пустить вниз статую или привязать за шею?

11. Шквал

Пираты были совсем близко. Видно было, как часто ударяли весла. Можно было различить и кучку народа на носу переднего судна. Красные паруса были убраны: они мешали теперь ходу.

Мачты с длинными гибкими рейками покачивались на зыби, и казалось, что не длинная галера на веслах спешит к кораблю, а к лакомому куску ползет сороконожка и бьет от нетерпения лапами по воде, качает гибкими усами.

Теперь было не до статуи, ветра никто уже не ждал, все стали готовиться к бою. Капитан вышел в шлеме. Он был красен от вина и волнения. Дюжина стрелков залезла на марс, чтобы сверху бить стрелами врага. Марс был огорожен деревянным бортом. В нем были прорезаны бойницы. Стрелки стали молча размещаться. Вдруг один из них закричал:

— Идет! Идет!

На палубе все задрали вверх головы.

— Кто идет? — крикнул с юта капитан.

— Ветер идет! Встречный с запада!

Действительно, с марса и другим была видна черная кайма у горизонта: это ветер рябил воду, и она казалась темной. Полоса ширилась,

приближаясь.

Приближались и пираты. Оставалось каких-нибудь четверть часа, и они подойдут к кораблю, который все еще болтал на месте своими черными парусами, как параличный калека.

Все ждали ветра. Теперь уж руки не пробовали оружия — они слегка дрожали, а бойцы озирались то на пиратские суда, то на растущую полосу ветра впереди корабля.

Все понимали, что этим ветром их погонит навстречу пиратам. Удастся ли пройти боковым ветром (галфвинд) наперерез пиратам и удрать у них из-под носа?

Капитан послал на марс — поглядеть, велик ли ветер, быстро ли набегают темная полоса. И комит со всех ног пустился по вантам. Он пролез сквозь отверстие (собачью дыру) на марс, вскочил на его борт и побежал выше по стеньвантам. Он еле переводил дух, когда долез до марс-реи, и долго не мог набрать воздуха, чтоб крикнуть:

— Это шквал! Сеньор, это шквал!

Свисток — и матросы бросились на реи. Их не надо было подгонять — они были моряки и знали, что такое шквал.

Солнце в багровом тумане, грузно, устало катилось за горизонт. Как нахмуренная бровь, висела над солнцем острая туча.

Паруса убрали. Крепко подвязали под реями. Корабль затаил дух и ждал шквала. На пиратов никто не глядел, все смотрели вперед.

Вот он гудит впереди. Он ударил по мачтам, по реям, по высокой корме, завыл в снастях. Передний бурун ударил в грудь корабль, хлестнул пеной на бак и понесся дальше. Среди рева ветра громко, уверенно резанул уши свисток комита.

12. Рифы

Команда ставила на корме косую бизань. На фок-мачте ставили марсель — но как его уменьшили! — риф-сезни связали в жгут его верхнюю половину и он, как черный ножик, повис над марсом.

Красный закат предвещал ветер, и, как вспененная кровь, рвалось море навстречу мертвой зыби.

И по этой толчее, накреньясь лихо на левый борт, рванул вперед венецианский корабль.

Корабль ожил. Ожил капитан, он шутил:

— Кажется, чересчур напугали Антония. Эти разбойники и скрягу

заставят раскошелиться.

А команда, шлепая босыми ногами по мокрой палубе, тащила с почтением несчастную статую на место.

О пиратах никто теперь не думал. Шквал им тоже наделал хлопот, а теперь сгустившийся кровавый сумрак закрыл от них корабль. Дул сильный, ровный ветер с запада. Капитан прибавил парусов и шел на юг, чтоб за ночь уйти подальше от пиратов. Но корабль плохо шел боковым ветром — его сносило вбок, он сильно дрейфовал. Высокий ют брал много ветра. Пузатые паруса не позволяли идти под острым углом, и ветер начинал их полоскать, едва рулевой пытался идти острее, «круче».

В суматохе аргузин забыл про Грицка, а он стоял у борта и не сводил глаз с моря.

13. На буксире

Наутро ветер «отошел»: он стал дуть больше с севера. Пиратов нигде не было видно. Капитан справлялся с картой. Но за ночь нагнало туч, и капитан не мог по высоте солнца определить, где сейчас корабль. Но он знал приблизительно.

Все люди, которые правили кораблем, невольно, без всякого усилия мысли, следили за ходом корабля, и в уме само собою складывалось представление: люди знали, в каком направлении земля, далеко ли они от нее, и знали, куда направить корабль, чтоб идти домой. Так птица знает, куда ей лететь, хоть и не видит гнезда.

И капитан уверенно скомандовал рулевому, куда править. И рулевой направил корабль по компасу так, как приказал ему капитан. А комит свистел и передавал команду капитана, как поворачивать к ветру паруса. Матросы тянули брасы и «брасопили» паруса, как приказывал комит.

Уже на пятые сутки, подходя к Венеции, капитан приказал переменить паруса на белые и поставить за кормой парадный флаг.

Грицка и болгарина заковали в цепи и заперли в душной каморке в носу. Венецианцы боялись: берег был близко, и кто их знает? Бывало, что невольники прыгали с борта и добирались вплавь до берега.

На корабле готовили другой якорь, и аргузин, не отходя, следил, как его привязывали к толстому канату.

Был полдень. Ветер еле работал. Он совсем упал и лениво шутил с кораблем, набегал полосами, рябил воду и шалил с парусами.

Корабль еле двигался по застывшей воде — она была гладкая и

казалась густой и горячей. Парчовый флаг уснул и тяжело висел на флагштоке.

От воды подымалось марево. И, как мираж, подымались из моря знакомые купола и башни Венеции.

Капитан приказал спустить шлюпку. Дюжина гребцов взялась за весла. Нетерпеливый капитан приказал буксировать корабль в Венецию.

14. Буцентавр

Выволокли пленников из каморки, повезли на богатую пристань. Но ничего наши ребята рассмотреть не могли: кругом стража, толкают, дергают, щупают, и двое наперебой торгуют невольников: кто больше. Пospорили, поругались; видит казак — уже деньги отсчитывают. Завязали руки за спину и повели на веревке. Вели вдоль набережной, вдоль спокойной воды. На той стороне дома, дворцы стоят над самым берегом и в воде мутно отражаются, переливаются.

Вдруг слышит Грицко: по воде что-то мерно шумит, плещет, будто шумно дышит. Глянул назад и обмер: целый дворец в два этажа двигался вдоль канала. Такого дома и на земле казак не видал. Весь в завитках, с золочеными колонками, с блестящими фонарями на корме, а нос переходил в красивую статую. Все было затейливо переплетено, перевито резными гирляндами. В верхнем этаже в окнах видны были люди; они были в парче, в шелках.

Нарядные гребцы сидели в нижнем этаже. Они стройно гребли, подымали и опускали весла, как один человек.

— Буцентавр! Буцентавр! — загалдели кругом люди. Все остановились на берегу, придвинулись к воде и смотрели на плавучий дворец.



Буцентавр.

Дворец поравнялся с церковью на берегу, и вдруг все гребцы резко и сильно ударили три раза веслами по воде и три раза крикнули:

— Ал! ал! ал!

Это Буцентавр по-старинному отдавал салют старинной церкви.

Это главный венецианский вельможа выезжал давать клятву морю. Клятву верности и дружбы. Обручаться, как жених с невестой.

Все смотрели вслед уплывающему дворцу, стояли — не двигались. Стоял и Грицко со стражей. Смотрел на рейд и каких только судов тут не было!

Испанские галеасы с высоким рангоутом, с крутыми бортами, стройные и пронзительные. Стояли они, как притаившиеся хищники,

ласковые и вежливые до поры до времени. Они стояли все вместе кучкой, своей компанией, как будто не торговать, а высматривать пришли они на венецианский рейд.

Плотно, развалисто сидели на воде ганзейские купеческие корабли. Они вразвалку пришли издалека, с севера. Деловито раскрыли ганзейские корабли свои трюмы и выворачивали по порядку плотно набитые товары. Стая лодок вертелась около них; лодки толкались, пробирались к борту, а ганзейский купец в очередь набивал их товаром и отправлял на берег.

Португальские каравеллы, как утки, покачивались на ленивой волне. На высоком юте, на задранном вверх баке не видно было людей. Каравеллы ждали груза, они отдыхали, и люди на палубе лениво ковыряли иголками с дратвой. Они сидели на палубе вокруг потрепанного погодой грота и ставили толстые заплатки из серой парусины.

А дальше, вдоль набережной, кормой к берегу, стояли длинные блестящие красавицы, — венецианские галеры. К ним-то и двинулась стража с Грицком.

15. Галера

Галера стояла кормой к берегу. Сходня, устланная ковром, вела с берега на галеру. Выступ у борта был открыт. Этот борт поднимался над палубой хвастливым изгибом.

Вдоль него бежали тонкой ниткой буртики, канты, а у самой палубы, как четки, шли полукруглые прорезы для весел — по двадцать пять с каждого борта.

Комит с серебряным свистком на груди стоял на корме у сходни. Кучка офицеров собралась на берегу.

Ждали капитана.

Восемь музыкантов в расшитых куртках, с трубами и барабанами, стояли на палубе и ждали приказа грянуть встречу.

Комит поглядывал назад на шиурму — на команду гребцов. Он всматривался: при ярком солнце под тентом казалось полутемно, и, только приглядевшись, комит различал отдельных людей: черных негров, мавров, турок — они все были голы и прикованы за ногу к палубе.

Но все в порядке: люди сидят на своих банках по шесть человек правильными рядами справа и слева.

Был штиль, и от нагретой воды канала подымалось зловонное дыхание.

Голые люди держали огромные весла, вытесанные из бревна: одно на шесть человек.

Люди смотрели, чтоб весла стояли ровно. Дюжина рук напряженно держала валец тяжелого галерного весла.

Аргужин ходил по мосткам, что тянулись вдоль палубы между рядами банок, и зорко поглядывал, чтоб никто недохнул, нешевельнулся.

Два подкомита — один на баке, другой среди мостков — не спускали глаз с разноцветной шиурмы; у каждого в руке была плеть, и они только смотрели, по какой голой спине пора щелкнуть.

Все томились и задыхались в парном вонючем воздухе канала. А капитана все не было.

16. Кормовой флаг

Вдруг все вздрогнули: издали послышалась труба — тонко, певуче играл рожок. Офицеры двинулись по набережной. Вдали показался капитан, окруженный пышной свитой.

Впереди шли трубачи и играли сигнал.

Комит метнул глазом под тент, подкомиты зашевелились и наспех на всякий случай хлестнули по спинам ненадежных; те только ежились, но боялись шевельнуться.

Капитан приближался. Он, не спеша, важно выступал в середине процессии. Офицер из свиты дал знак на галеру, комит махнул музыкантам, и грянула музыка: капитан по ковру вступал на галеру.

Едва он ступил на палубу, как над кормой тяжело всплыл огромный шитый золотом флаг. На нем был вышит мишурой и шелками герб, фамильный герб капитана, венецианского вельможи, патриция Пиетро Гальяно.

Капитан посмотрел за борт — в сонную лоснящуюся воду: золотом глянуло из воды отражение шитого флага. Полюбовался. Патриций Гальяно мечтал, чтобы его слава и деньги звенели звоном по всем морям. Он сделал строгое, надменное лицо и прошел на корму с дорогой, вызолоченной резьбой, с колонками и фигурами.

Там под трельяжем^[15], накрытым дорогим ковром, стояло его кресло. Не кресло, а трон.

Все почтительно молчали. Шиурма замерла, и голые люди, как статуи, неподвижно держали навесу тяжелые весла.

Капитан шевельнул рукой — и музыка смолкла. Кивком головы

Гальяно подозвал старшего офицера. Офицер докладывал, что галера вооружена, снаряжена, что куплены новые гребцы, что провиант, вода и вино запасены, оружие в исправности. Скривано (писец) стоял сзади со списком наготове — для справок.

17. Шиурма

— Посмотрим, — вымолвил командир.

Он встал с трона, спустился в свою каюту в корме и оглядел убранство и вооружение, что висело по стенам. Прошел в кают-камеру и обозрел все — и запасы и оружие. Он проверял арбалетчиков: заставлял их при себе натягивать тугой арбалет. Один арбалет он приказал тут же выбросить за борт; едва следом не полетел в воду и сам арбалетчик.

Капитан был в гневе.

Все трепетали, и комит, подобострастно извиваясь, показывал капитану шиурму.

— Негр. Новый. Здоровый парень... очень даже здоровый.

Капитан поморщился:

— Негры — дрянь. Хороши первый месяц. Потом киснут идохнут. Военная галера не для тухлого мяса.

Комит опустил голову. Он купил негра по дешевке и втридорога показал цену командиру.

Гальяно внимательно рассматривал гребцов. Они сидели в обычной при гребле позе: прикованная нога опиралась на подножку, а другой ногой гребец упирался в переднюю банку.

Капитан остановился: у одного гребца дрожали руки от напряженного, застывшего усилия.

— Новый? — бросил он комиту.

— Да, да сеньор, новый славянин. С Днепра. Молодой, сильный чело...

— Турки лучше! — оборвал капитан и отвернулся от новичка.

Грицка никто б не узнал: он был побрит — голый череп, без усов, без бороды, с клочками волос на маковке.

На цепи, как и все эти цепные люди. Он посматривал на цепочку на ноге и приговаривал про себя:

— О це ж дило! И усе через бабу... Сидю, як пес на цепочке...

Ему уже не раз попадало плетью от подкомитов, но он терпел и приговаривал:

— А усе через нее. Только не может же быть того...

Он никак не мог поверить, чтоб так оно все и осталось в этом царстве, где коки прикованы к камбузу, гребцы к палубе, где триста человек здоровых людей дрожат перед тремя плетками комитов.

А пока что Грицко держался за валеk весла. Он сидел первым от борта. Главным гребцом на весле считался шестой от борта: он держался за ручку.

Это был старый каторжник. Его приговорили к службе на галере, пока не раскается: он не признавал римского папы, и за это его судили. Он уже десять лет греб и не раскаивался.

Сосед у Грицка был черный — негр. Он блестел, как глазированная посуда.

У негра был осовелый вид, и он грустно хлопал глазами, как больная лошадь. Негр слегка шевельнул локтем и показал глазами на корму. Комит подносил ко рту свисток.

На свист комита ответили командой подкомиты, грянула музыка, и в такт ей все двести человек согнулись вперед, даже привстали на банках.

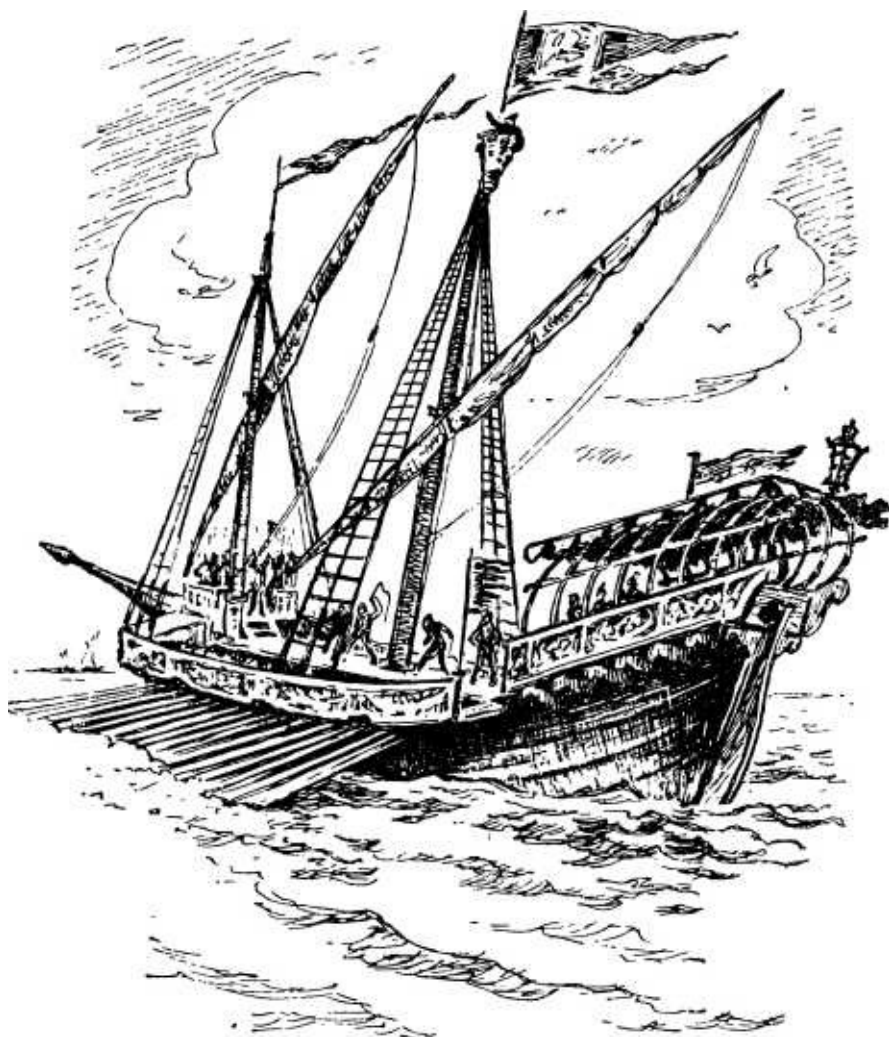
Все весла, как одно, рванулись вперед. Гребцы приподняли вальки, и едва лопасти весел коснулись воды, как все люди дернулись, изо всей мочи потянули весла к себе, вытянув руки. Люди падали назад на свои банки, все разом.

Банки подгибались и охали. Хриплый вздох этот повторялся при каждом ударе весел. Его слышали гребцы, но не слышали те, что окружали капитанский трон. Музыка заглушала скрип банок и те слова, которыми перекидывались галерники.

А галера уже оторвалась от берега. Ее пышная корма теперь вся была видна столпившимся любопытным.

Всех восхищали фигуры греческих богов, редкой работы колонки, затейливый орнамент. Патриций Гальяно не жалел денег, и десять месяцев лучшие художники Венеции работали над носовой фигурой и разделкой кормы.

Галера казалась живой. Длинный водяной дракон бил по воде сотней плавников.



Венецианская галера.

От быстрого хода ожил тяжелый флаг. Он чванился золотом на солнце.

Галера вышла в море. Стало свежее. Легкий ветер тянул с запада. Но под тентом вздыхали банки, и триста голых людей сгибались, как черви, и с размаху бросались на банки.

Гребцы тяжело дышали, и едкий запах пота носился над всей шиурмой.

Теперь музыки не было, бил только барабан, чтоб давать такт гребцам.

Грицко изнемогал. Он только держался за валец весла, чтоб двигаться в такт со всеми. Но бросить, не сгибаться он не мог: задним веслом попадут по спине.

В такт барабану двигалась эта живая машина. Барабан ускорял свой бой — люди начинали чаще сгибаться и падать на банки. Казалось, что барабан гнал галеру вперед.

Подкомиты смотрели во все глаза: капитан пробовал шиурму, и нельзя было ударить в грязь лицом. Плетки ходили по голым спинам: подкомиты поддавали пару машине.

Вдруг свисток с кормы — раз и два. Подкомиты что-то крикнули, и часть гребцов сняла руки с весел. Они опустились и сели на палубу.

Грицко не понимал, в чем дело. Его сосед-негр сел на палубу. Грицко получил плеткой по спине и крепче вцепился в валец. Негр схватил его за руки и потянул вниз. А тут в спину налетел валец переднего весла и вовремя сбил Грицка наземь — комит уж нацелился плеткой.

Это капитан приказал грести четверем из каждой шестерки. Он хотел посмотреть, какой получится ход, когда треть команды отдыхает.

Теперь гребли четверо на каждом весле. Двое у борта отдыхали, опустившись на палубу. Грицко в кровь успел уже разодрать себе руки. Но у привычных галерников ладонь была, как подошва, и валец не натирал руки.

Теперь галера шла в открытом море.

Западный ветер гнал легкую зыбь и полоскал борта судна. Мокрые золоченые боги на корме блестели еще ярче. Тяжелый флаг полоскался в свежем ветре.

18. Правым галсом

Комит коротко свистнул.

Барабан смолк.

Это командир приказал остановить греблю.

Гребцы стали втягивать весла на палубу, чтоб уложить их вдоль борта.

Матросы убирали тент. Он вырывался из рук и бился на ветру. Другие полезли по рейкам: они отдавали сезни, которыми были плотно подвязаны к рейкам скрученные паруса.

Это были треугольные паруса на длинных, гибких рейках. Они были на всех трех мачтах. Новые, ярко-белые. И на переднем было нашито цветное распятие, под ним три герба: папы римского, испанского короля и Венецианской республики. Гербы соединены были цепью. Обозначало это крепкий, нерушимый боевой союз трех христианских государств против «неверных», против сарацин, мавров, арабов, турок.

Туго расправились на ветре паруса. На свободном углу паруса была веревка — шкот. За нее тянули матросы, и капитан давал приказание, как натянуть: от этого зависит ход судна. Матросы знали места, каждый знал

свою снасть, и они бросились исполнять приказание капитана. Наступали на измученных гребцов, как на кладь.

Матросы были наемные добровольцы; в знак этого у них оставляли усы. А галерники были каторжники, рабы, и матросы их топтали.

Галера накренилась на левый борт и плавно скользнула по зыби. После барабана, стога банок, шума весел спокойно и тихо стало на судне. Гребцы сидели на палубе, опершись спиной о банки. Они вытянули набухшие, затекшие руки и тяжело дышали.

Но за плеском зыби, за говором флагов, что трепались на ногах рейков, не слышали сеньоры на корме под трельяжем говорка, бормотанья, смутного, как шум, и ровного, как прибой. Это шиурма от весла к веслу, от банки к банке передавала вести. Они облетали всю палубу, от носа к корме, шли по левому борту и переходили на правый.

19. Комиты

Подкомиты не видели ни одного раскрытого рта, ни одного жеста: усталые лица с полуоткрытыми глазами. Редко кто повернется да звякнет цепочкой.

У подкомитов зоркий глаз и тонкое ухо. Им слышалось среди глухого бормотанья, звяканья цепей, плеска моря — им слышался звук, будто крысы скребут.

«Тихо на палубе, осмелели проклятые!» — думал подкомит и прислушивался — где?

Грицко оперся о борт и свесил меж колен бритую голову с клочком волос на макушке. Поматывая головой, думал о гребле и приговаривал про себя:

— Ще раз так, то я вже сдохну.

Негр отвернулся от своего соседа-турка и чуть не упал на Грицка. Придавил ему руку. Казак хотел ее высвободить. Но негр крепко ее зажал, и Грицко почувствовал, что ему в руку суют что-то маленькое, твердое. Потом разобрал — железка.

Негр глянул полуоткрытым глазом, и Грицко понял: и бровью моргнуть нельзя.

Взял железку. Тихонько пощупал — зубатая.

Пилка!

Маленький жесткий зубатый кусочек. Грицка в пот бросило. Задышал сильнее. А негр закрыл совсем глаза и еще больше навалился своим

черным скользким телом на Грицкову руку.

Подкомиты прошли, остановились и внимательно посмотрели на изнеможенного негра. Грицко замер. Он весь обвис от страха и хитрости: пусть думают, что он едва жив, до того утомился.

Комиты говорили, а Грицко ждал: вдруг бросятся, поймают на месте.

Он не понимал, что они говорили про неудачно купленного негра.

— Лошадь, настоящая лошадь, а сдохнет. От тоски онидохнут, каналы, — говорили подкомиты. Они прошли дальше, на бак: там их ждал обед.

Загорелая голая нога просунулась осторожно между Грицко и негром.

Казак обиделся:

«Тисно, а вин ше пхается».

Нога зашевелила пальцами.

«Ще дразнится!» — подумал Грицко.

Хотел толкнуть ногу в намозоленную подошву. А нога снова нетерпеливо, быстро зашевелила пальцами.

Негр приоткрыл глаз и взглядом указал на ногу. Грицко понял. Он устало переменил позу, навалился на эту голую ногу и засунул между пальцев обгрызок пилки.

Негр не шелохнулся. Не двинулся и Грицко, когда нога протянулась назад к соседям.

Порыв веселого ветра набежал на галеру, а с ним зыбина увесисто шлепнула в правый борт. Брызгами обдало по голым телам.

Люди дернулись и звякнули цепями. И в этом шуме Грицко ясно услышал, как шелестом долетел до него звук:

— Якши?^[16]

Первое слово, что понял Грицко на галере. Дрогнул, обрадовался. Родным слово показалось. Откуда? Поднял глаза, а это турок, что облокотился о черного негра, скосил глаза и смотрит внимательно, серьезно.

Чуть не крикнул казак во всю глотку от радости:

— Якши! Якши!

Да спохватился. И ведь знал-то всего три слова: урус^[17], якши да алла^[18]. И когда опять зашлепали на палубе матросы, чтобы подобрать шкоты, Грицко успел прохрипеть:

— Якши! Якши!

Турок только глазами метнул.

Это ветер «зашел» — стал больше дуть с носа. Галера подобрала

шкоты и пошла круче к ветру.

Все ждали, что сеньор Пиетро Гальяно повернет назад, чтоб до захода солнца вернуться в порт. Осмотр окончен. Никто не знал тайной мысли капитана.

20. Поход

Капитан отдал приказание комиту. Тот передал его ближайшим к корме гребцам, «загребным», они передали следующим, что держали весла за рукоятку, и команда неслась вдоль галеры к баку по этому живому телефону.

Но чем дальше уходили слова по линии гребцов, тем все больше и больше прибавлялось слов к команде капитана, непонятных слов, которых не поняли бы и подкомиты, если б слышали. Они не знали этого каторжного языка галерников.

Капитан требовал, чтобы к нему явился из своей каюты священник. А шиурма прибавляла к этому свое распоряжение.

— Передавай ее дальше, на правый борт.

Слова относил ветром, и слышал их только сосед.

Скоро по средним мосткам затопал, подбирая сутану^[19], капеллан. Он спешил и на качке нетвердо ступал по узким мосткам, и балансируя свободной рукой, размахивал четками.

— Отец! — сказал капитан. — Благословите оружие против неверных. Свита переглянулась.

Так вот отчего галера идет правым галсом вкрутую уже три часа кряду, не меняя курса!

Поход!

На свой риск и страх. Партизанский подвиг затеял Гальяно.

— Неверные, — продолжал капитан, — овладели галерой патриция Рониеро. Генуэзские моряки не постыдились рассказать, что это было на их глазах. Должен ли я ждать благословения Совета?

На баке толпились уже вооруженные люди в доспехах, с мушкетами, копьями, арбалетами. Пушкари стояли у носовых орудий.

Капеллан читал латинские молитвы и кропил пушки, мушкеты, арбалеты, спустился вниз и кропил камни, которые служили вместо ядер, глиняные горшки с огненным составом, шарики с острыми шипами, которые бросают при атаке на палубу врагам. Он только остерегся кропить известь, хотя она и была плотно укупорена в засмоленных горшках.

Шиурма знала уже, что это не проба, а поход.

Старый каторжник, что не признавал папы римского, что-то шепнул переднему гребцу. И пока на баке все тянули в голос «Те Деум», быстро, как ветер бежит по траве, зашелестели слова от банки к банке. Непонятные короткие слова.

21. Свежий ветер

Ветер все тот же, юго-западный ветер, дул весело и ровно. Начал играючи, а теперь вошел в силу, гнал бойкую зыбь и плескал в правую скулу галеры.

А галера рылась в зыбь, встряхивалась, отдувалась и рвалась вперед на другой гребень.

Поддает зыбь, блестят брызги на солнце и летят в паруса, обдают людей, что столпились на баке.

Там солдаты с подкомитом говорили про поход. Никто не знал, что затеял Пиетро Гальяно, куда он ведет галеру.

Всем выдали вина после молебна; тревожно и весело было людям.

А на юте, под трельяжем, патриций сидел на своем троне, и старший офицер держал перед ним карту моря. Комит стоял поодаль у борта и старался уловить, что говорит командир с офицером. Но комит стоял на ветру и ничего не слышал.

Старый каторжник знал, что Гальяно здесь врага не встретит. Знал, что такой погодой они к утру выйдут из Адриатики, а там... Там пусть только нападут...

Матросы разносили суп гребцам. Это были вареные фиги. Сверху плавало немного масла. Суп давали в море через день — боялись, чтоб еда не отяготила гребцов на их тяжелой работе. Негр не ел — он тосковал на цепи, как волк в клетке.

К вечеру ветер спал, паруса обессиленно повисли. Комит свистнул.

Матросы убрали паруса, лазая по рейкам, а гребцы взялись за греблю.

22. На юте

И опять барабан забил дробь — четко, неумолимо отбивал он такт, чтобы люди бросались вперед и падали на банки. И опять все триста

гребцов заработали тяжелыми, длинными веслами.

Негр вытягивался всей тяжестью на весле, старался, даже скалился. Пот лил с него, он блестел, как полированный, и банка под ним почернела — промокла. То вдруг силы оставляли этого громадного человека, он обмякал, обвисал и только держался за валеk слабыми руками, и пятеро товарищей чувствовали, как потяжелело весло: грузом висело черное тело и мешало грести.

Старый каторжник глянул, отвернулся и еще сильнее стал налегать на ручку.

А негр водил мутными глазами по сторонам — он уже ничего не видел и собирал последнюю память. Память обрывалась, и негр уж плохо понимал, где он, но все же в такт барабану сгибался и тянулся за вальком весла.

Вдруг он пустил руки: они сами разжались и выпустили валеk. Негр рухнул спиной на банку и скатился вниз. Товарищи посмотрели и скорей отвернулись: они не хотели глядеть на него, чтобы не обратить внимания подкомитов.

Но разве что укроется от подкомитов?

Уже двое с плетью бежали по мосткам: они увидали, что пятеро гребут, а шестого нет на Грицковой банке. Через спины людей подкомит хлестнул негра. Негр слабо дернулся и замер.

— А, скотина! Валяться? Валяться? — шипел подкомит и со злостью, с яростью хлестал негра.

Негр не двигался. Мутные глаза остановились. Он не дышал.

Комит с юта острым глазом все видел. Он сказал два слова офицеру и свистнул.

Весла стали. Галера с разгону шла вперед, шумела вода под форштевнем.

Комит пошел по мосткам, подкомиты пробирались между банок к негру.

— Что? Твой негр! — крикнул вдогонку комиту Пиетро Гальяно.

Комит повел лопатками, как будто камнем ударили в спину слова капитана, и ускорил шаги. Он вырвал плетъ у подкомита, сжал зубы и изо всей силы стал молотить плеткой черный труп.

— Сдох!.. Сдох, дьявол! — злился и ругался комит.

Галера теряла ход. Комит чувствовал, как зреет на юте гнев капитана. Он спешил!

Каторжный кузнец уже возился около ноги покойника. Он заметил, что цепочка надпиlena, но смолчал. Гребцы смотрели, как подкомиты

поднимали и переваливали через борт тело товарища. Комит последний раз изо всей злой силы резанул плетью по мертвому телу, и с шумом плюхнуло тело за борт.

Стало темно, и на корме зажгли над трельяжем фонарь, высокий, стройный, в половину человеческого роста фонарь, разукрашенный, с завитками, с фигурами, с наядами на подножке. Он вспыхнул желтым глазом через слюдяные стекла.

Небо было ясное, и теплым светом горели звезды — влажным глазом смотрели с неба на море.

Из-под весел белой огненной пеной подымалась вода — это горело ночное море, и смутным, таинственным потоком выбегала в глубине струя из-под киля и вилась за судном.

Гальяно пил вино. Ему хотелось музыки, песни. Хорошо умел петь второй офицер, и вот Гальяно приказал замолчать барабану. Комит свистнул. Дробь оборвалась, и гребцы, подняли весла.

Офицер пел, как певал он дамам на пиру, и все заслушались: и галерники, и свита, и воины. Высунулся из своей каюты капеллан, вздыхал и слушал грешные песни.

Под утро побежал свежий трамонтан и полным ветром погнал галеру на юг. На фордевинд шла галера, откинув свой косой фон направо, а грот — налево. Как бабочка распустила крылья.

Усталые гребцы дремали. Гальяно спал в своей каюте, и над ним покачивалось на зыби и говорило оружие. Оно висело на ковре над койкой.

Галера вышла в Средиземное море. Вахтенный на мачте осматривал горизонт.

Там, на верхушке, мачта распускалась, как цветок, как раструб рога. И в этом раструбе, уйдя по плечи, сидел матрос и не спускал глаз с моря.

И вот за час до полудня он крикнул оттуда:

— Парус! — и указал на юг прямо по курсу корабля.

Гальяно появился на юте. Проснулись гребцы, зашевелились на баке солдаты.

23. Саэта

Корабли сближались, и теперь все ясно видели, как, круто вырезаясь против ветра в бейдевинд, шел сарацинский корабль — саэта, длинная, как стрела.

Пиетро Гальяно велел поднять на мачте красный флаг — вызов на бой.

Красным флагом на рейке ответила сарацинская саэта — бой принят.

Пиетро Гальяно велел готовиться к бою и спустился в каюту. Он вышел оттуда в латах и шлеме, с мечом на поясе. Теперь он не садился в свое кресло, он ходил по юту — сдержанно, твердо.

Он весь напрягся, голос стал звончей, верней и обрывистой. Удар затаил в себе командир, и все на корабле напряглись, приготовились. Из толстых досок городили мост. Он шел посередине, как пояс, от борта к борту, над гребцами. На него должны забраться воины, чтоб оттуда сверху разить сарацин из мушкетов, арбалетов, сыпать камнями и стрелами, когда корабли сцепятся борт о борт на abordаж.

Гальяно метился, как лучше ударить в неприятеля.

На саэте взялись за весла, чтоб лучше управляться, — трудно идти вкрутую против ветра.

24. «С наветра»

А Гальяно хотел подойти «с наветра», чтоб по течению ветра сарацины были ниже его.

Он хотел с ходу ударить саэту в скулу острым носом, пробить, с разгону пройти по всем ее веслам с левого борта, поломать их, своротить, сбросить гребцов с банок и сразу же засыпать врага стрелами, камнями, как ураган, обрушиться на сарацин.

Все приготовились и только изредка шепотом переговаривались отрывисто, крепко.

На шиурму никто не глядел, о ней забыли и подкомиты.

А старому каторжнику на каторжном языке передавали:

— Двести цепочек!.

А он отвечал:

— По моему свистку сразу.

Казак взглядывал на старика, не понимал, что затевают, но каторжник отворачивал лицо.

На баке уже дымились фитили. Это приготовились пушкари у заряженных орудий. Они ждали — может быть, ядрами захочет встретить командир неприятельскую саэту.

Начальник мушкетов осмотрел стрелков. Оставалось зажечь фитили на курках. Надавят мушкетеры крючок, и фитили прижмутся к затравкам^[20]. Тогдашние тяжелые мушкеты палили, как ручные пушки.

Саэта, не меняя курса, шла навстречу венецианцам. Оставалось минут

десять до встречи.

Десять стрелков пошли, чтоб взобраться на мост.

И вдруг, свист, резкий, пронзительный, разбойничий свист, резанул уши.

Все обернулись и обомлели.

Каторжная шиурма встала на ноги. Если б деревянная палуба стала вдруг дыбом на всем судне, не так бы изумилась команда. И солдаты минуту стояли в ужасе, как будто на них несло стадо мертвецов.

Люди дергали своими крепкими, как коренья, руками надпиленные цепи. Рвали, не жалея рук. Другие дергали прикованной ногой. Пусть нога прочь, но оторваться от проклятой банки.

Но это была секунда, и двести человек вскочили на банки.

Они побежали по скамьям, с воем, звериным ревом. Они лязгали обрывками цепей на ногах, цепи бились на бегу по банкам. Обгорелые, черные, голые люди прыгали через снасти, опрокидывали все по дороге. Они ревели от страха и злобы. С голыми руками против вооруженных людей, что стояли на баке!

Но с юта грянул выстрел! Это сеньор Гальяно вырвал мушкет у соседа, выпалил. Выпалил в упор по наступавшим на него галерникам. Вырвал из ножен меч. Лицо перекосилось от бешенства.

— Проклятые изменники! — хрипел Гальяно, махал мечом, не подпускал к трельяжу. — Сунься!

Выстрел привел в память людей на баке. Из арбалетов полетели стрелы.

Гребцы падали.

Но те, кто рвался на бак, ничего не видели: были звериным голосом, не слышали выстрелов, неудержимо рвались вперед, наступали на убитых товарищей и лезли ревущей тучей.

Они бросались, хватали голыми руками мечи, лезли на копья, падали, а через них прыгали задние, бросались, душили за горло солдат, впивались зубами, рвали и топтали комитов.

Пушкарки, не зная для чего, выпалили в море.

А галерники сталкивали солдат с борта. Мавр огромного роста крушил обломком арбалета все кругом — и своих и чужих.

А на юте, у трельяжа, сеньор Гальяно рванулся вперед на галерников. Поднял свой меч, и люди на минуту стали: бешеных, цепных людей остановила решимость одного человека.

Но не успели офицеры поддержать своего сеньора: старый каторжник бросился вперед, головой ударил командира, и вслед за ним голая толпа

залила трельяж с воем и ревом.

Двое офицеров сами бросились в воду. Их утопили тяжелые латы.

А галера без рулевого стала в ветер, и он трепал, полоскал паруса, и они тревожно, испуганно бились.

Хлопал и бормотал над трельяжем тяжелый штандарт Пиетро Гальяно. Сеньора уже не было на судне — его сбросили за борт.

Комита, люди сорвавшиеся с цепи, разорвали в клочья. Галерники рыскали по судну, выискивали притаившихся в каютах людей и били без разбора и пощады.

25. Оверштаг

Сарацины не понимали, что случилось. Они ждали удара и удивлялись, почему нелепо дрейфует, ставши в ветер, венецианская галера.

Военная хитрость? Сдача?

И саэта сделала поворот оверштаг и направилась к венецианской галере.

Сарацины приготовили новое оружие. Они насажали в банки ядовитых отвратительных змей и этими банками готовились закидать неприятельскую палубу.

Венецианская шиурма была почти вся из моряков, взятых с мавританских и турецких судов; они знали парусное дело и повернули галеру левым бортом к ветру. Левым галсом пошла навстречу сарацинам венецианская галера под командой турка, Грицкова соседа.

Старого каторжника зарубил сеньор Гальяно, и он лежал под трельяжем, уткнувшись лицом в окровавленный ковер.

Флаг Гальяно шумел по-прежнему на ветру на крепком флагштоке. Сарацины видели кормовой флаг на своем месте — значит, венецианцы не сдаются, идут на них.

Сарацины приготовили железные крючья, чтоб сцепиться борт о борт. Они шли под парусами правым галсом навстречу галере.

Но вот на трельяж влез голый человек, черный и длинный. Он поймал вьющийся штандарт за угол, а тот бился и вырывался у него из рук, как живой.

Это великан-мавр решил сорвать кормовой флаг. Он дергал. Флаг не поддавался. Он рванул, повис на нем — затрещала дорогая парча, флаг сорвался и вместе с мавром полетел за борт.

Все турки из шиурмы собрались на баке; они кричали по-арабски

сарацинам, что капитана нет, нет солдат, что они, галерники, сдают судно.

Рулевой приводил к ветру. Передний парус, фок, подтянули штокком так, что он стал против ветра и работал назад, а задний, грот, вытянули штокком втугую, и он слабо работал вперед.

Галера легла в дрейф.

Она едва двигалась вперед и рыскала, то катясь под ветер, то выбегая на ветер. Осторожно подходили к ней сарацины, все еще не доверяя.

Мало ли хитростей в морской войне!

Оружие было наготове.

Турки клялись аллахом и показывали порванные цепи.

Сарацины стали борт о борт и взошли на палубу.

26. В дрейф

Это были марокканские арабы. Они были в красивых, чеканной работы шлемах и латах — в подвижных, легких чешуйчатых латах. В этой броне они ловко и гибко двигались и блестели чешуей на солнце, как змеи. Убитые галерники валялись среди окровавленных банок, многие так и оставались на цепи, простреленные пулями и стрелами солдат.

Мавры-галерники наспех объясняли землякам, что случилось. Они говорили все сразу.

Сарацинский капитан все уже понял. Он велел всем молчать. Теперь, после гама и рева, первый раз стало тихо, и люди слышали море, как оно билось между бортами судов.

Галера осторожно продвигалась вперед, лежа в дрейфе, ждала своей участи, и только чуть полоскал на ветру уголок высокого паруса.

Сарацинский капитан молчал и обводил глазами окровавленную палубу, убитых людей и нежные белые крылья парусов. Галерники смотрели на сарацина и ждали, что он скажет. Он перевел глаза на толпу голых гребцов, посмотрел с минуту и сказал:

— Я даю свободу мусульманам. Неверные пусть примут ислам. Вы подняли руку на врагов, а они на своих.

Глухой ропот прошел по голой толпе.

Турок, Грицков сосед, вышел, стал перед сарацинским капитаном, приложил руку ко лбу, потом к сердцу, набрал воздуха всей грудью, выпустил и снова набрал.

— Шейх! — сказал турок. — Милостивый шейх! Мы все — одно. Шиурма — мы все. Зачем одним свобода, другим нет? Они все наши враги

были, эти, которых мы убили. А мы все на одной цепочке были, одним веслом гребли, и правоверные и неверные. Одной плеткой нас били, один хлеб мы ели, шейх. Вместе свободу добывали. Одна пусть судьба наша будет.



Зачем одним свобода, другим нет?.. Одной плеткой нас били, один хлеб мы ели, шейх.

И опять стало тихо, только вверху, как трепетное сердце, бился легкий парус.

Шейх смотрел в глаза турку, крепко смотрел, и турок уперся ему в глаза. Смотрел, не мигая, до слез.

И все ждали.

И вдруг улыбнулся сарацин.

— Хорошо ты сказал, мусульманин. Хорошо! — Показал рукой на убитых и прибавил: — Смешалась ваша кровь в бою. Будет всем одно. Убирайте судно.

Он ушел, перескочил на свою саэту.

Все завопили, загомонили и не знали, за что приняться.

Радовались, кто как умел: кто просто махал руками, кто дубасил до боли кулаком по борту галеры, другой кричал:

— Ий-алла! Ий-алла!

Сам не знал, что кричал, и не мог остановиться.

Грицко понял, что свобода, и орал вместе со всеми. Он кричал в лицо каждому:

— А я ж казав! А я ж казав!

Первый опамятовался Грицков турок. Он стал звать к себе людей. Он не мог их перекричать и манил руками. Турок показывал на раненых. И вдруг гомон стих.

Шиурма принялась за дело. С сарацинской саэты пришли на помощь. Отковали тех, кто не успел перепилить цепи и остался у своей банки.

Когда взяли тело старого каторжника, все притихли и долго смотрели в мертвое лицо товарища — не могли бросить в море. Сарацины его не знали. Они подняли его. Зарычала цепочка через борт, загремела, и приняло море человека.

И все отвернулись от борта. Шепотом говорили на своем каторжном языке и мыли кровавую палубу.

Теперь флаг с полумесяцем развевался на мачте. Галера послушно шла в кильватер сарацинской саэте.

Сарацинский моряк теперь вел венецианскую галеру в плен к африканским берегам.

27. У сарацин

Толпа стояла на берегу, когда в залив влетела полными парусами ловкая саэта. За ней шла, не отставая, как за хозяином, в свой плен галера с затейливо разубранной кормой, в белых нарядных парусах на гибких рейках.

Саэта стала на якорь, и галера следом за ней стала в ветер и тоже отдала якорь. Шиурма мигом сбила и убрала паруса.

На берегу поняли, что саэта привела пленницу. Толпа кричала. Народ палил в воздух из мушкетов. Странно было смотреть на эту новую,

блестящую галеру, без царапинки, без следов боя и трепки — здесь, в мавританской бухте, рядом с сарацинской саэтой.

Шейх исполнил свое слово: всякий галерник волен был идти, куда хочет. И Грицко долго объяснял своему турку, что он хочет домой, на Украину, на Днепр.

А турок и без слов знал, что всякий невольник хочет домой, только не мог растолковать казаку, что надо ждать случая.

Казак, наконец, понял самое главное: что не выдаст турок, каторжный товарищ, и решил: «Буду его слушать...»

И стал жить у сарацин.

В бухте стояло около десятка разных судов.

Некоторые были так ловко выкрашены голубой краской, что ленивому глазу трудно было их сразу заметить в море. Это сарацинские пинкеты красили так свои фюсты, чтоб незаметно подкрадываться к тяжелым купеческим судам.

Это были маленькие галеры, ловкие, юркие, с одной мачтой. Их легко подбрасывала мелкая зыбь в бухте. Казалось, им не сидится на месте, вот-вот сорвутся, понесутся и ужалят, как ядовитое насекомое.

У бригантин форштевень переходил в острый и длинный клюв. Бригантины смотрели вперед этим клювом, как будто целились. Корма выгибалась фестоном и далеко свешивалась над водой. Весь ют был поднят. Из портов кормовой надстройки торчали бронзовые пушки, по три с каждого борта.

Турок показывал казаку на бригантину и что-то успокоительно бормотал. Казак ничего не понимал и кивал головой: понимаю, дескать, хорошо, спасибо.

Много хотелось Грицку сказать галернику-турку, да не мог ничего и только приговаривал:

— Якши, якши.

Сидел на песке, смотрел на веселую бухту, на сарацинские суда и загадывал:

— Через год буду дома... хоть бы через два... а вдруг на рождество! — И вспомнил снег. Взял рукой горсть красноватого горячего песка, сдавил, как снежок. Не клеится. Рассыпается, как вода.

Арабы ходили мимо в белых бурнусах, скрипели черными ногами по песку. Зло посматривали на казака. А Грицко отворачивался и все смотрел на веселую бухту, навстречу ветру.

28. Бухта

Фелюга стояла на берегу. Кольями она была подперта в борта и сверху прикрыта парусом, чтоб не рассохлась на солнце. Спала, как под простыней. Парус навесом свешивался с борта. В тени его лежали арабы. Они спали, засунув головы под самое пузо сонной фелюги, как щенки под маткой.

А мелкий прибой играл и ворочал ракушей под берегом. Ровно и сладко.

В углу бухты мальчишки купали коней, кувыркались в воде, барахтались. Мокрые лошади блестели на солнце, как полированные.

Загляделся казак на коней.

Вдруг вдали показался верховой араб в белом бурнусе, на вороной лошади. Длинный мушкет торчал из-за спины. Он проскакал мимо мальчишек, что-то им крикнул. Мальчишки мигом вскочили на коней и в карьер поскакали от берега.

Араб ехал к Грицку и по дороге что-то кричал фелюжникам.

Фелюжники проснулись, помигали со сна с минуту и вдруг вскочили, как пружины. Они мигом выбили подпорки, облепили фелюгу и с криком дернули ее к морю. Верховой осадил коня, глянул зверем на Грицка, заорал грозно и замахнулся плеткой. Грицко встал и отбежал в сторону.

Араб пугнул его конем. Поднял на дыбы лошадь и повернул ее в воздухе. Ударил острыми стремянами в бока и полетел дальше. Скоро весь берег покрылся народом — белыми бурнусами, полосатыми хламидами.

Все смотрели в море.

Это сторожевые с горы дали знать, что с моря идет парус. Не сарацинский парус. Фелюга уже рыскала по бухте от судна к судну: передавала приказ шейха готовиться сняться в море.

А на берегу зажгли костер.

Какая-то старая, высохшая женщина стояла у костра и держала за крылья петуха.

Петух перебирал в воздухе лапами и стеклянными глазами смотрел на огонь.

Старуха раскачивалась и что-то бормотала.

Грудь до самого пояса была вся в толстых бусах, в монетах, в раковинах. Бусы переливчато бренчали, тоже говорили.

Народ стоял кружком и молчал.

Старуха кинула в огонь ладан, и сладкий дым понесло ветром вбок, где

за мысом синело яркой синью Средиземное море.

Старухе подали нож.

Она ловко отхватила петуху голову и бросила ее в огонь.

Все отошли: теперь начиналось самое главное.

Старуха ощипывала петуха и, проворно работая черными костлявыми пальцами, пускала перья по ветру.

Теперь все смотрели, куда полетят петушьи перья. Перья летели по ветру: они летели к мысу, летели к Средиземному морю.

Значит, удача.

И шейх дал приказ фюстам выйти в море.

Полетели бы перья в аул — сарацины остались бы в бухте.

Арабы бросились к фелюгам.

А женщины остались со старухой у костра, и она еще долго гремела бусами и бормотала нараспев старинные заклинания.

Две фюсты первые вырвались в море.

Они пошли в разведку с темными парусами на мачтах.

Их скоро не стало видно: они как растворились в воздухе.

Бригантины на веслах выгребались из залива.

Грицко влез на пригорок и следил за сарацинскими судами и европейским парусом.

Парус шел прямо к бухте — спокойно и смело.

29. Славянский Неф

Грицков турок нашел своего товарища. От тянул Грицка вниз на берег и что-то серьезно и тревожно говорил. Все повторяли одно, но казак ничего не понимал. Однако, пошел за турком — он ему верил: крепко каторжное слово.

Это сарацины собрали всех христиан в кружок, чтобы все на глазах были, чтоб не давали своим сигналов. Пересчитали и хватились Грицка.

Христиане сидели в кружке на берегу, а вокруг стояли сарацины с копьями. Турок привел казака и сам остался в кружке. Грицко осмотрелся — вся шиурма была тут: мусульмане-галерники не хотели покидать товарищей. Они сидели впереди и коротко переругивались со стражей.

Но вот все поднялись, засуетились.

В бухту вернулась бригантина. Она вошла и отдала якорь на своем месте. Скоро весь сарацинский флот был в бухте.

Неужели отступили, спрятались в бухту от одного корабля?

Но вот в проходе появился высокий корабль. Он тяжело, устало входил в бухту под одним парусом. Осторожно пробирался в чужом месте далекий путник.

Стража разошлась. Галерники разбрелись. Казак не понимал, что случилось. Решил, что христиане сдались без боя.

Дюжина фелюг обступила корабль. Все старались пробиться к борту.

Турок, увязая ногами в песке, бежал к Грицку и что-то кричал. Он улыбался всеми зубами, кричал изо всей силы Грицку в ухо отдельно, чтоб понял казак. И все смеялся, весело, радостно. Наконец, шлепнул Грицка по спине и крикнул:

— Якши, якши, урус, чек якши!

И потащил его за руку бегом к каику.

Узкий каик уже отчаливал от берега, гребцы, засучив шаровары, проводили каик на глубокое место. Их обдало по грудь зыбью, каик вырывался, но люди смеялись и весело кричали.

На крик турка они оглянулись. Остановились. Закивали головами.

Турок толкал Грицка в воду, торопливо толкал, показывал на каик. Грицко вошел в воду, но оглянулся на турка. Турок, высоко поднимая ноги, догнал Грицка и потащил дальше. Смеялся, скалил зубы.

Гребцы гукнули и разом вскочили с обоих бортов в узкий каик. Зыбью рвануло каик к берегу, но весла уж были на месте и дружно ударили по воде.

Прибой, играя, поставил каик чуть не дыбом. Арабы весело осклабились и налегли, так что затрещали шкармы. Каик рванулся, прыгнул на другой гребень раз и два и вышел за пену прибоя. Грицко видел, что его везут к христианскому кораблю. Прогонистый каик, как ножом, резал воду. А турок, знай, хлопал казака по спине и приговаривал:

— Якши, дели баш!

Грицко немного побаивался. Может, думают, что ему к христианам хочется: был он уж у одних. Да надеялся на каторжного товарища. Этот понимает!

По трапу влез Грицко за турком на корабль. С опаской глянул на хозяев.

Что за люди? Двое к нему подошли. Они были в белых рубашках, в широких шароварах, в кожаных посталах на ногах. Что-то знакомое мелькнуло в длинных усах и усмешке.

Они, смеясь, подошли к нему.

Турок по-своему что-то сказал им.

И вдруг один сказал, смеясь:

— Добры день, хлопче!

Казак так и обмер. Рот разинул, и дыханье стало. Если б кошка залаяла, если б мачта по-человечьи запела, не так бы он удивился.

Казак все смотрел, испуганно, как спросонья. А моряк смеялся. Хохотал и турок и от радости приседал и стучал Грицка ладошкой в плечо:

— А дели, дили-сен, дели!

30. До хаты

Это был славянский корабль. Он пришел к маврам с товаром издалека, с Далматского берега, из Дубровики.

Небогатый был корабль у дубровичан — из-под топора все.

И одеты хорваты-дубровичане были просто: в портах да рубахах.

Пахло на судне смолой да кожей.

Не свой, чужой товар развозило по всему Средиземному морю славянское судно — ломовое судно. Как ломовые дроги, смотрело оно из-под смолы и дегтя, которым вымазали дубровичане и борта и снасти. В заплатах были их паруса, как рабочая рубаха у сносчика.

Люди на судне приветливо встретили казака, и не мог Грицко наговориться. Слушал турок непонятную славянскую речь и все смеялся, тер себе ладошками бока и скалил зубы.

Потом заговорил с хорватами по-турецки.

— Это он спрашивает, переправим ли тебя домой, — сказали Грицку хорваты и побожились турку, что поставят казака на дорогу, будет он дома.

Через год только добился казак до своих мест. Сидел на завалинке под хатой и в сотый раз землякам рассказывал про плен, про неволю, про шиурму.

И всегда кончал одним:

— Бусурманы — бусурманы... А вот на того турка я ридного брата не сменяю.

Словарь морских выражений и альбом рисунков к нему

Абордаж — морской бой, когда суда сходятся борт о борт и схватка идет врукопашную.

Бак — носовая часть палубы.

Банка — скамья в лодке.

Бейдевинд — Когда судно идет под парусами так, что ветер дует почти в нос судну, то говорят: судно идет в бейдевинд.

Бизань — третья мачта, считая от носа. На ней есть косой парус, который тоже называется «бизань».

Блинд — четырехугольный парус под бушпритом. Теперь он не употребляется. Память о нем осталась в названии тех рогов, что идут в бока от середины бушприта. Они называются блиндагафеля и служат для распора снастей бушприта.

Блиндаря — рея, которая перекрещивала бушприт. К ней подвязывался парус — блинд.

Брасы — снасти, что идут от концов рей. За них поворачивают реи.

Брашпиль — машина, которой поднимают якорь.

Бриз — ветер; ветер, который ночью, особенно после жары, дует с берега, — ночной бриз.

Буртик — выступающий кант, что идет вдоль борта.

Бухта — небольшой залив, удобный для стоянки кораблей. Бухтой называют также канат, смотанный в круг, бочкой.

Бушприт — бревно, выпущенное впереди корабельного носа.

Ванты — веревки, которые идут от мачты к бортам.

Вахтенный — дежурный.

Весла — Весло начинается ручкой, затем идет утолщение (для противовеса) — валец; дальше оно круглое, как палка, — это веретено, и кончается весло длинной лопаткой — пером.

Ветер зашел — значит ветер изменил свое направление и стал дуть больше с носа.

Ветер отошел — ветер стал дуть больше с кормы.

Выбирать — тянуть снасть к себе.

Выбленка — веревочная ступенька между соседними вантами. По этим ступенькам матросы взбегают на мачту.

Галфвинд — Когда ветер дует парусному судну прямо в борт, то говорят: судно идет в галфвинд (или в полветра).

Грот-мачта — вторая мачта, считая с носа.

Грот — нижний парус на грот-мачте. Верхним краем он привязывается к грот-рее, а нижний его край свешивается над палубой. Косой грот на галере привязывался к рейку, который наискось вверх подымался на грот-мачте; верхний его конец подымался высоко над грот-мачтой.

Дрейф — снос судна по ветру. Если судно стоит на якоре, а якорь не зацепил как следует за дно и ползет по дну, то говорят: якорь подрейфил. Если судно идет в галфвинд и его снесло вбок на две мили, то говорят: две мили дрейфа. Лечь в дрейф значит заставить передние паруса тащить судно, назад, а задние — вперед. Тогда судно будет очень медленно двигаться вперед.

Дубок — в Черном море так называют небольшое парусное судно.

Кильватер — Идти в кильватер — так говорят, когда суда идут гуськом.

Камбуз — кухня на судне.

Карамусал — старинное турецкое посыльное судно.

Клюз — отверстие в носу для якорного каната. От него идет железная труба, которая открытым концом выходит на палубу. В эту трубу и проводят с палубы якорный канат.

Кок — повар на судне.

Круто к ветру — Идти круто к ветру — значит идти почти против ветра, лишь бы паруса были надуты, а не полоскали. Если стать совсем носом к ветру, то говорят: стал в ветер.

Курс — направление судна.

Кубрик — общая матросская каюта в носу судна.

Левым галсом — идет судно, у которого ветер с левой стороны, **правым галсом** — когда ветер справа.

Марс — площадка на мачте. К ней как раз и проводят ванты, что идут от бортов к мачте.

Марсель — второй снизу парус на мачте. На фок-мачте он называется фок-марсель, на грот-мачте — грот-марсель.

Мертвая зыбь — волны, которые остались после того, как перестал дуть ветер, или идущие издалека, где работает ветер. На них нет гребней.

Нок — конец реи, который выступает за парус.

Норд-вест — направление почти прямо на запад.

Оверштаг — сделать поворот: стать сначала носом к ветру, а потом

поставить ему другой борт.

Определиться — астрономическими наблюдениями узнать, где находится судно.

Отдать — отпустить снасть; отдать якорь — отпустить якорь, чтоб он упал в воду.

Переметы — рыбачьи снасти в несколько сот крючков.

Порт — место для стоянки судов у берега; обычно это место огораживают толстыми каменными стенками, чтоб защитить порт от волн; устраивают склады для товаров и т. д. Портом называют также четырехугольное отверстие в борту судна; из этих портов стреляли в старину пушки; порты наглухо могли запираться крышками, которые откидывались вверх.

Привести к ветру — поставить судно носом против ветра.

Рангоут — деревянные части «вооружения» судна: реи, бушприт, мачты.

Рейд — место в море перед портом.

Рея — деревянная поперечина на мачте, к которой привязывают «прямые» паруса. Концы ее называются ноками. От ноков наклонно вверх идут к мачте веревки — топенанты. Они поддерживают рею.

Реек — наклонная поперечина на мачте. Конец ее сильно возвышается над мачтой. К рейкам привязывали на галере «косые» паруса: на передней мачте косой фок, а на задней — косой грот.

Румб — направление по компасу.

Салинг — площадка на мачте.

Сезни — снасти, которыми подвязываются паруса. Риф-сезни — это вшитые в паруса веревки. Они целым рядом хвостиков болтаются по обе стороны паруса. Когда парус надо уменьшить, риф-сезни связывают через край паруса.

Скула — часть корпуса, где нос судна переходит в борт, круглый угол корпуса.

Стать в ветер — стать прямо против ветра.

Стеньванты — веревки, которые идут от марса к верху стеньги, а стеньга — это верхняя надставная часть мачты.

Сходня — деревянные мостки, что прокладывают с берега на судно, чтоб можно было пройти, перекатить груз.

Табанить — грести назад.

Такелаж — веревочные снасти на судне; все вместе называются такелажем судна.

Тент — брезентовый навес над палубой.

Топенант — см. *рея*.

Трамонтан — северный ветер.

Трап — лестница.

Тузик — маленькая лодка на двух человек.

Фалень — по-морскому — веревка.

Флагшток — небольшая мачта специально для флага.

Фок-мачта — передняя мачта.

Фордевинд — попутный ветер.

Форштевень — носовой брус судна, которым оно разрезает воду.

Шаланда — плоскодонная лодка.

Шиурма — каторжная команда галеры.

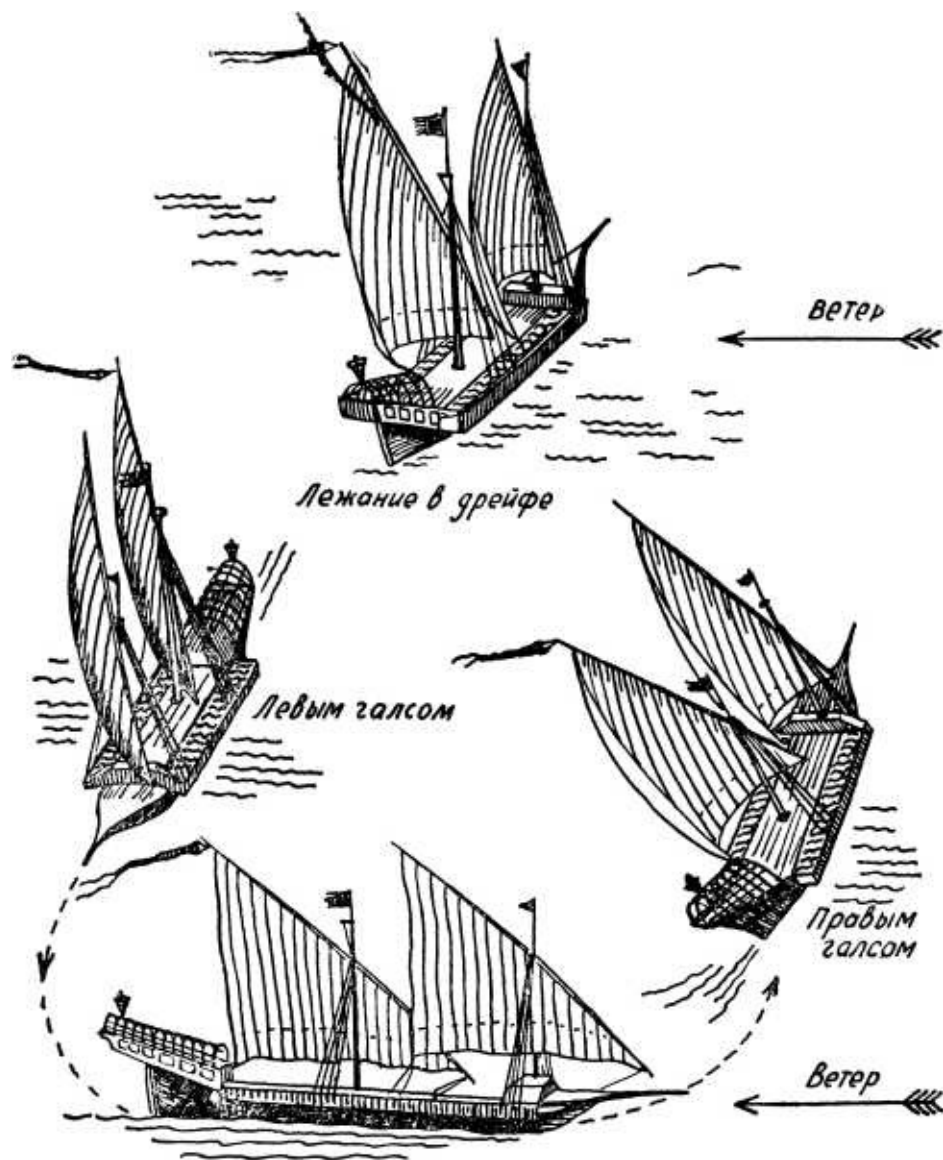
Шкарма — тычок в борту: к нему привязывается ведро.

Шквал — сильный порыв ветра.

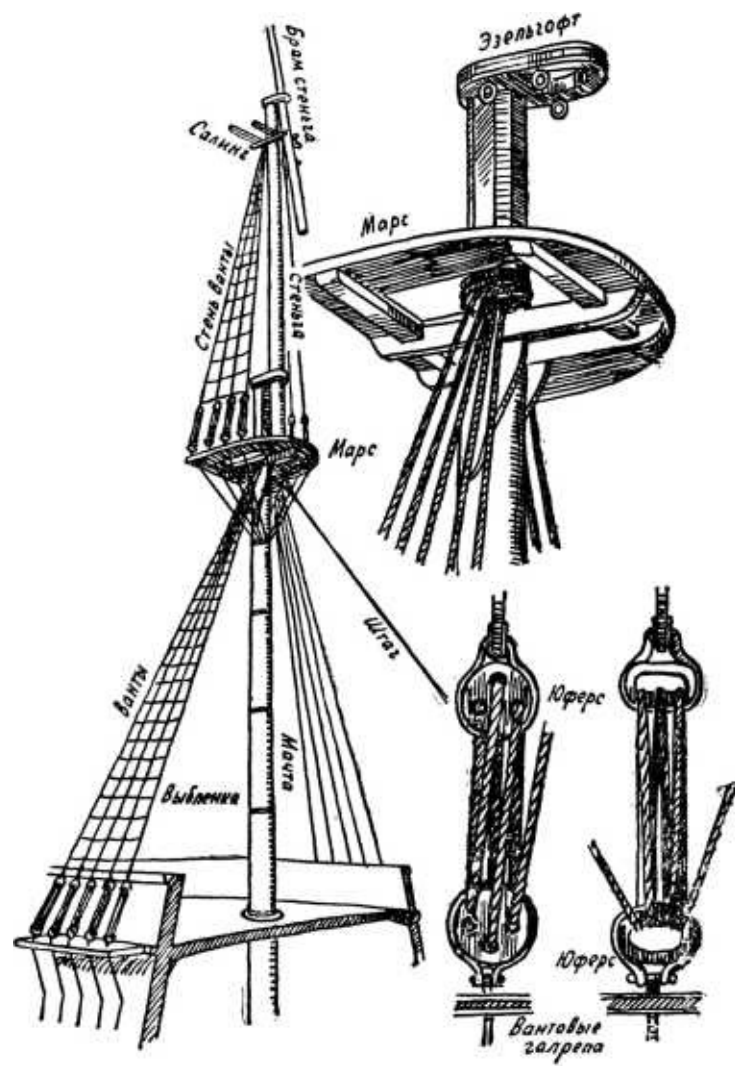
Шкот — снасть, что идет от конца паруса. Ею можно отпускать и натягивать ту же парус.

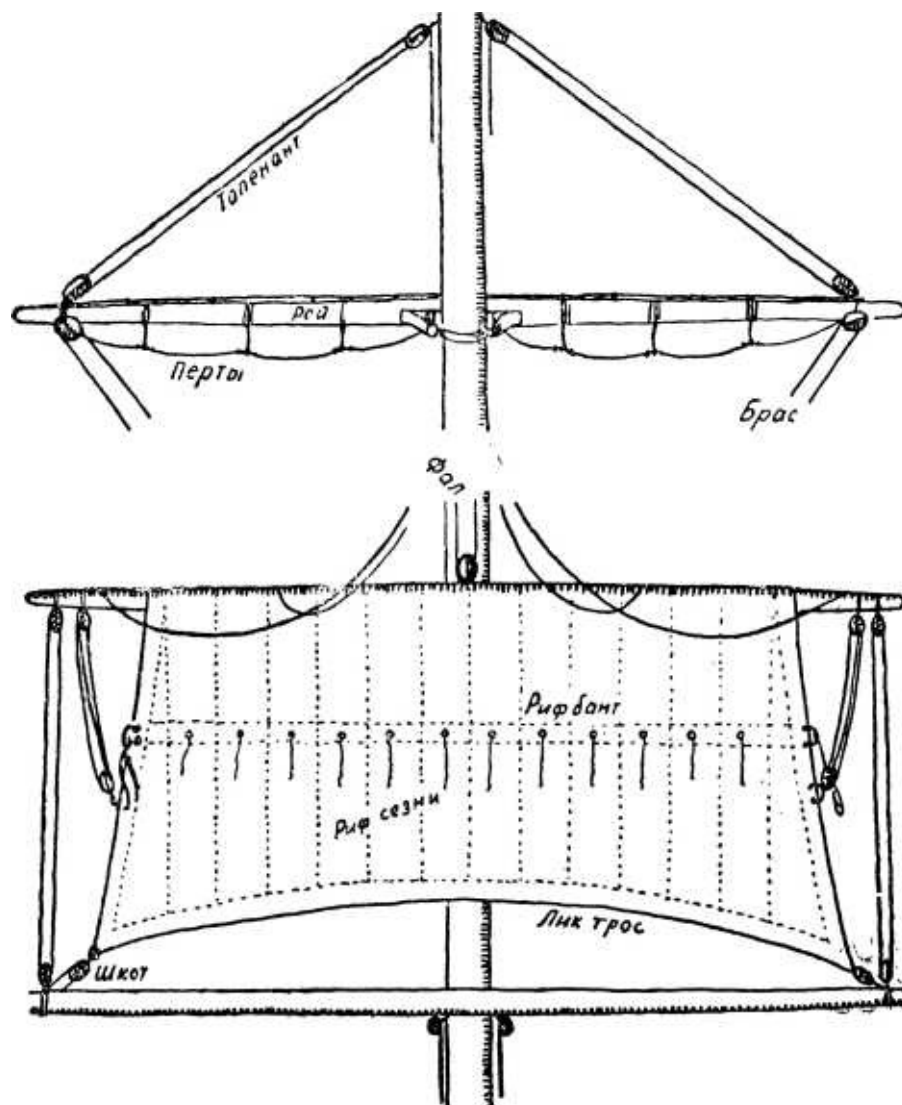
Шпангоуты — ребра судна, на которые нашиваются доски наружной обшивки.

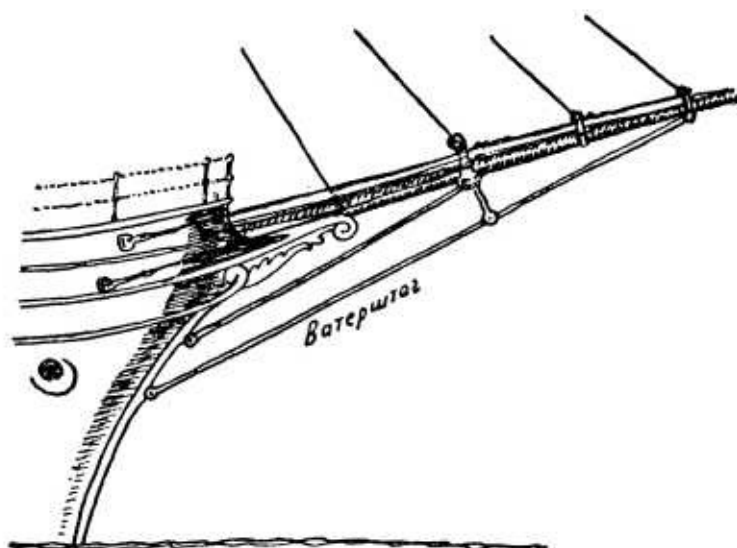
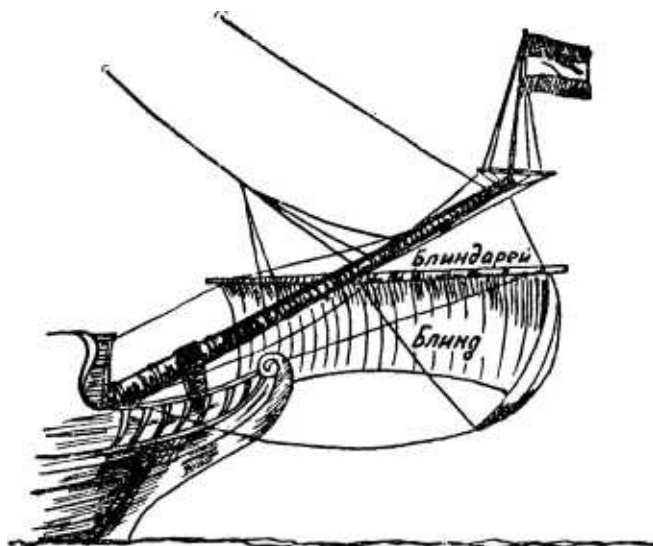
Ют — кормовая часть палубы.



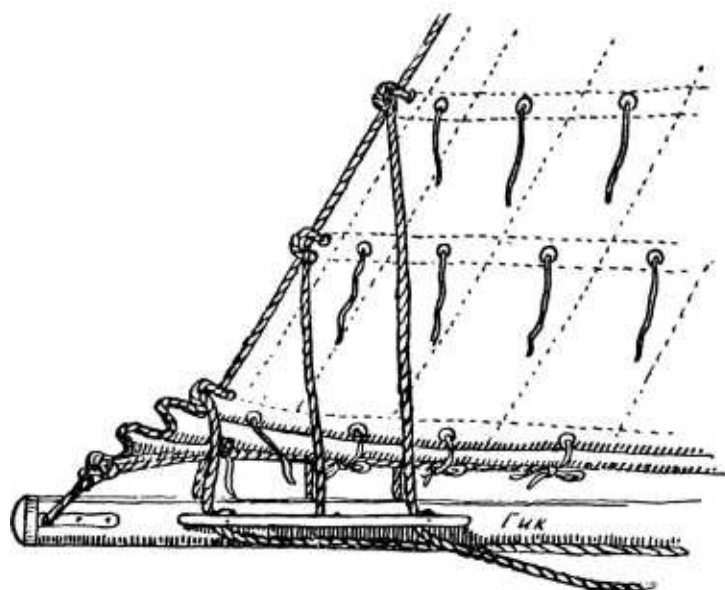
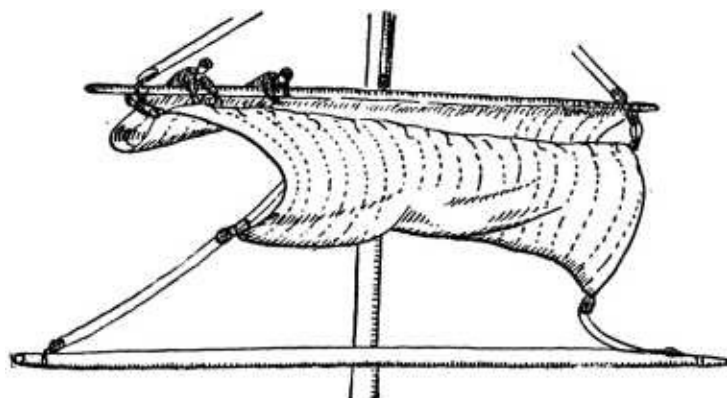
Поворот оверштаг.

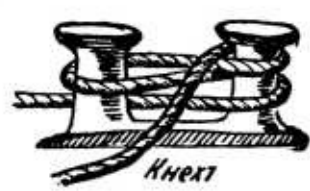
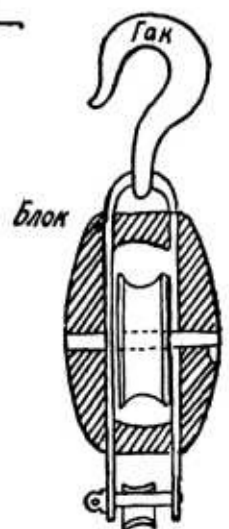
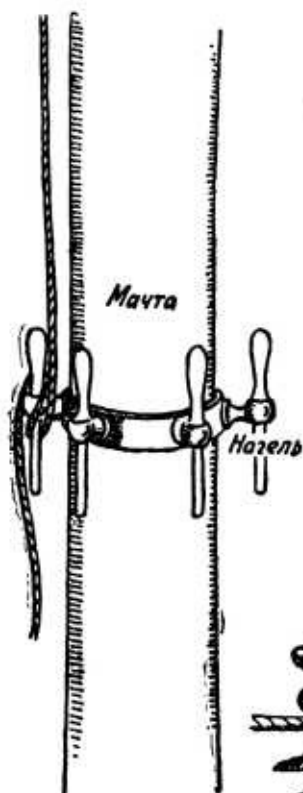
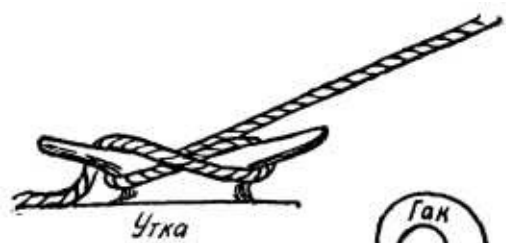
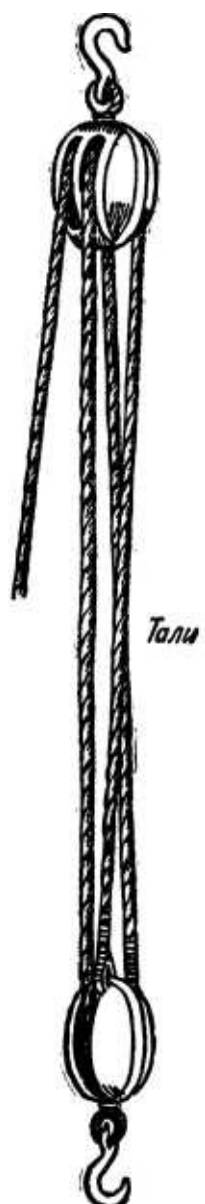






Бушприт корабля XVIII века и бушприт современного корабля.



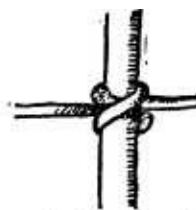




Прямой узел



Рифовый узел



Выбленочный узел



Шкотовый узел



Брашкотовый узел



Удавка



Беседочный узел



Двойной беседочный



Плоский узел



Штык



Штык



Рыбацкий штык

Примечания

1

Под заныр — на дно, под воду.

2

Планшир — верхняя часть борта.

Нактоуз — медный предохранительный колпак с фонарями на компасе.

4

Банка — скамья на шлюпке.

По-турски: «Ой, посмотри на меня...»

6

Ребра эти называются шпангоутами.

Это бревно, покрывающее шпангоуты, называется кильсоном.

Якши урус — хорош русский.

Наргиле — кальян, прибор для курения.

Фок-мачта.

Грот-мачта.

Бизань-мачта.

Надстройка — по-морскому: бак.

Мушкеты — старинные ружья, тяжелые, кончавшиеся раструбом.

Трельяж — решетчатый навес. Он сводом перекрывает ют венецианской галеры.

Якши — хорошо.

Урус — русский.

Алла — бог (у мусульман).

Сутана — одеяние католических священников.

Затравка — отверстие в казенной (задней) части пушки или ружья, через которое поджигают заряд.

33 коп.



Свердловское
книжное
издательство
1966

